Ираклий Андроников

Рассказы литературоведа

ДЕТГИЗ
1962

Школьная библиотека

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

Рассказы литературоведа



Оформление О. Г. ВЕРЕЙСКОГО

Государственное Издательство
Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1962

Откройте «Рассказы литературоведа», и вы попадете из Москвы в Ленинград, потом отправитесь на Кавказ, проедете по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси. Затем побываете в Пензенской области, в Актюбинске, в Астрахани. Вы совершите путешествие не только по стране, но и в глубь истории, узнаете много нового об одном из самых любимых ваших поэтов... Вы примете участие в разгадке увлекательных тайн, откроете россыпи сокровищ...

— Каких тайн? Каких сокровищ? — спросите вы.— И при чем тут литературоведение?

Ответы на эти вопросы содержатся в книжке. Ее автор — известный литературовед и писатель, доктор филологических наук Ираклий Андроников — много лет занимается изучением жизни и творчества М. Ю. Лермонтова.

В этой книге автор рассказывает о приключениях, связанных с его исследовательской работой. Люди, о которых он ведет речь, — живые, невымышленные люди, с подлинными именами и фамилиями. И события, описанные Андрониковым, — события невыдуманные, реальные, потому что автор изобразил здесь все именно так, как было в действительности.

Ваши отзывы об этой книге присылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.





ПОРТРЕТ

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

Я хочу рассказать вам историю одного старинного портрета, который изображает человека, давно умершего и тем не менее хорошо вам знакомого. История эта не такая старинная, как самый портрет, но, хотя она началась совсем недавно, это все-таки целая история.

От одного московского издательства я был как-то командирован в Ленинград и пробыл там несколько дней. Событие это, само по себе ничем не примечательное, не стоило бы даже и упоминания, если бы другое событие — или, попросту, совершенно ничтожный случай, о каких мы забываем ровно через минуту, — не положило начало целому ряду приключений.

Итак, я был командирован в Ленинград — город, особенно близкий моему сердцу. Там я учился и окончил университет, вступил на литературное поприще, обрел там первых друзей — словом, был счастлив.

Какое это удивительное, какое радостное чувство — вернуться на несколько дней в город, где прожил лет десять! А уж если вам случалось бывать в Ленинграде, да еще в белые ночи, вы, конечно, поймете меня.

Прямота набережных. Неподвижный строй бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов и их опрокинутые отражения в зеркально-черных водах окантованной гранитом Невы. Ажурные арки мостов на фоне розово-желтой зари. Лиловые контуры башен, колонн и скачущих бронзовых коней в этом обманчивом полусвете. И кажется еще прямей, чем всегда, прямота проспектов и набережных. Будто легче и ближе один от другого стали мосты, будто теснее сдвинулись купола и шпили в этой прозрачной, загадочной тишине. Словно все уменьшилось вокруг, но город стал еще лучше, прекрасней, если только может стать еще прекраснее этот великий город! Впрочем, я совершенно отвлекся от предмета своего повествования.

По приезде в Ленинград я не преминул наведаться в Пушкинский дом Академии наук СССР.

Посвятив себя изучению жизни и творчества Лермонтова, я, приезжая в Ленинград, никогда не упускаю случая побывать в Пушкинском доме, где собраны почти все рукописи Лермонтова, где можно видеть его портреты, картины и рисунки, сделанные его рукой, где целая комната уставлена шкафами, в которых хранятся решительно все издания сочинений Лермонтова и литература о нем.

Когда-то я даже служил в Пушкинском доме — по старой памяти пользуюсь там полной свободой и по-прежнему имею доступ в рабочие комнаты.

Так и на этот раз я явился в музейный отдел, к Елене Панфиловне Наседенко, и получил от нее разрешение хозяйничать: просматривать каталоги, перелистывать инвентарные книги, самому доставать с полок тяжелые альбомы и папки. И вот, пользуясь ее гостеприимством, я уже расположился в рабочей комнате музея, заставленной шкафами, письменными столами и шифоньерками.

Бывают же такие неудачи! Не успела Елена Панфиловна отвернуться, как я, пробираясь мимо ее стола, смахнул рукавом какую-то разинутую папку с незавязанными тесемками. Папка шлепнулась на пол, и тут же высыпалось из нее чуть ли не все содержимое: штук пятнадцать портретов известного педагога Ушинского, гравированный портрет митрополита Евгения, составившего словарь русских писателей, несколько изображений Ломоносова с высоко поднятой головой и бумагой в руке, Бестужев-Марлинский в мохнатой кавказской бурке, фотография: Лев Толстой рассказывает сказку внуку и внучке, памятник дедушке Крылову, поэт-партизан Денис Давыдов верхом на белом коне и вид южного побережья Крыма...



Пушкинский дом на Тучковой набережной в Ленинграде.

— Как это меня угораздило! Прямо слон...— бормочу я, ползая по полу.— Простите, Елена Панфиловна, не сердитесь!

— Ну уж ладно, что с вами делать! — улыбается Елена Панфиловна.— Давайте-ка папку сюда.

Но я медлю отдать ей.

— Простите,— говорю.— Разрешите мне еще разок взглянуть на эти картинки...

— На что они вам?

— Сейчас...— отвечаю я и уже роюсь и роюсь в папке.— Сейчас!..

Неужели это мне только почудилось? Нет, конечно я видел и упустил какое-то ужасно знакомое лицо. Оно мелькнуло, когда папка упала.

— Одну минуту... секундочку... Вот!

И я быстро выхватил из кучи картинок небольшую пожелтевшую любительскую фотографию, изображавшую молодого военного.

Никогда в жизни не видел я этого портрета. Но откуда же я тогда знаю это лицо? Темный блеск задумчивых глаз, чуть вздернутый нос, тонкие темные усы над пухлым детским ртом, упрямый подбородок, высоко поднятые, словно удивленные брови и ясный, спокойный лоб будто совсем и не согласованы между собой, а лицо между тем чуд-

ное, необыкновенное. Из-под накинутой на плечи распахнутой тяжелой шинели виднеется эполет.

Перевернул. На обороте — надпись карандашом: «Прибор серебряный». И все! Кто же это?

Это, конечно, он! Я узнал его сразу, словно знаком с ним давно, словно видел его когда-то вот точно таким. Так неужели же это Лермонтов? Неужели это неизвестный нам лермонтовский портрет?

И сразу удивление, и радость, и сомнение: Лермонтов?! В куче каких-то случайных картинок... А вот уверен, что он был такой, каким изображен на этой выцветшей фотографии, хотя, по правде сказать, и не очень похож на другие свои портреты. Но все-таки кто это?

— Елена Панфиловна, это, случайно, не Лермонтов?

— Считается почему-то, что Лермонтов,— отвечает Елена Панфиловна, и мне уже нечем дышать,— только почему так считается, в точности никому не известно.

И вот смотрю я — и ведь еще неизвестно, кто это, а уже кажется, словно короче стали сто лет, которые отделяют нас от него, и Лермонтов словно ожил на этой старенькой фотографии. И какая заманчивая тайна окружает его лицо! Сколько лет ему на этом портрете? В каком он изображен мундире? Как попала сюда эта выцветшая фотография и где самый портрет? И на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов?

— Елена Панфиловна, на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов?

— Эта фотография,— говорит Елена Панфиловна,— попала к нам в Пушкинский дом из Лермонтовского музея при кавалерийском училище, очевидно, в 1917 году. Наверно, там ее и считали репродукцией с лермонтовского портрета. А уж коли вам кажется, что это действительно Лермонтов, вам надо заняться этим вопросом и найти самый портрет. Портрет интересный,— с улыбкой заключила она и, выдвинув ящик каталога, взялась за перо.

«Г1-08-87»

Итак, прежде всего надо было установить, как попала фотография в музей, на стол к Елене Панфиловне.

В Рукописном отделении Пушкинского дома я выписал инвентарные книги бывшего Лермонтовского музея при Петербургском кавалерийском училище. Действительно, все материалы, и в том числе инвентарные книги этого музея, в 1917 году поступили в Пушкинский дом.

Перелистал инвентарную книгу. Теперь я уже знаю: фотографию с портрета М. Ю. Лермонтова в Лермонтовский музей пожертвовал некий В. К. Вульферт, член Московской судебной палаты.



Лицо, о котором идет речь.



Картотека Б. Л. Модзалевского. Над картотекой — его портрет.

Мне стала известна, таким образом, фамилия владельца портрета. Но когда, в какие годы он владел им? Когда пожертвовал в музей фотографию? Может быть, еще в 80-х годах прошлого века, когда при кавалерийском училище в Петербурге впервые открылся Лермонтовский музей?.. Как искать этого Вульферта? Жив ли он? В Москве ли? Хранит ли портрет?

«Установим сперва, — говорю я себе, — кто такой Вульферт. Прежде всего надо проверить, нет ли этой фамилии в картотеке Модзалевского».

Эта картотека — настоящее чудо библиографии. Борис Львович Модзалевский, известный знаток жизни и творчества Пушкина, изучая исторические труды и воспоминания, старинные альбомы и письма, журнальные статьи и официальные отчеты, имел обыкновение каждую встретившуюся ему фамилию выписывать на отдельный листок и тут же на листке помечать имя и отчество того лица, название журнала или книги, том и страницу, на которой прочел фамилию. Этой привычке он никогда не изменял. И через тридцать лет в его картотеке оказалось свыше... трехсот тысяч карточек. Картотека — это шкафчик с широкими плоскими ящиками. Каждый ящик разделен на отсеки, плотно набитые маленькими карточками, написанными рукой Модзалевского. После смерти Модзалевского картотеку приобрел Пушкинский дом.

По этой картотеке я без особого труда установил, в каких именно книгах встречается имя В. К. Вульферта. Потом перешел в библиотеку Пушкинского дома и там, снимая с полок книги и раскрывая их на указанных страницах, постепенно узнал, что Вульферта звали Владимиром Карловичем, что в его коллекции хранились рукопись гоголевской «Женитьбы» и письма поэта Батюшкова, что и сам Владимир Карлович печатал рассказы в 80-х годах, что отец его, Карл Антонович, был женат на сестре Николая Станкевича — молодого мыслителя, с которым Лермонтов учился в Московском университете. В книге «Список гражданским чинам» я вычитал, что Владимир Карлович Вульферт «в службе с 1866 года».

Смекаю, что, должно быть, его давно нет на свете. Беру книгу «Вся

Москва на 1907 год» — адресную московскую книгу. Гляжу: Владимира Карловича нет и в помине. Зато есть какой-то Иван Карлович Вульферт, Молчановка, 10. Вероятно, брат Владимира Карловича. Следовательно, и этот годится.

Пропускаю несколько лет. Перелистываю том «Вся Москва на 1913 год». Все идет хорошо. К Ивану Карловичу Вульферту прибавился какой-то Анатолий Владимирович. Очевидно, сын Владимира Карловича. Адрес: Большой Николо-Песковский, 13.

Рука тянется к книге «Вся Москва на 1928 год», а в душе — целая буря... Сколько было событий с 1913 года по 1928! Живы ли Вульферты? В Москве ли? Цел ли портрет? В их ли руках или, может быть, продан давно? А... Б... В... Вуль... Вульф... «Вульферт Анат. Влад., улица Вахтангова, 13, кв. 23».

Живы!!!

Живы в 1928 году! А сейчас?

— Простите,— говорю,— где тут у вас стоит последняя телефонная книжка?

— Вон на той полке.

— Так ведь это же ленинградская, а мне московскую надо.

— Московской у нас нет.

— Батюшки!..

И, недолго размышляя, я опрометью бегу на междугородную телефонную станцию и требую, запыхавшись, московскую телефонную книжку.

«Вульферт А. В., улица Вахтангова, 13, телефон Г I-08-87».

— Есть!

ПОКЛОННИК ТЕАТРА РУСТАВЕЛИ

Вернулся в Москву. И вечером, в тот же день, отправился на поиски Вульферта. В портфеле у меня фотография, переснятая в Пушкинском доме с той фотографии.

Живу, оказывается, от Вульферта на расстоянии одного квартала, крышу дома вижу из своего окна каждый день, а даже и не подозревал, что так близко от меня неизвестный лермонтовский портрет.

Удивительно!

Сворачиваю с Арбата на улицу Вахтангова. Поравнялся с домом 13. Поднимаюсь по лестнице, рассматриваю дощечки на дверях и наконец стучу в дверь 23-й квартиры. Открывает какая-то заспанная старуха.

— Простите,— говорю,— можно видеть Анатолия Владимировича Вульферта?

— Опомнились! Они уж давно не живут здесь.

Я обомлел:

— Да что вы! А где же они?
— Не скажу.
— А у кого же теперь узнать?
— У сына ихнего, у Сашеньки. Он военным инженером работает. Сходите к нему домой. Он и скажет.
— А он где живет?
— На Новинском живет, дом двадцать три вроде... Туда, к площади Восстания поближе. А вот квартира какая, не помню... Александра Анатольевича спросите!
И вот я уже бегу на Новинский.
Дом 23. Квартира, оказывается, 17. На двери ящик почтовый. Из ящика высунулся угол газеты «Советское искусство». Ну, думаю, коли здесь искусство в чести, цену портрету знают. Очевидно, он цел-невредим.
Звоню. Слышу за дверью шаги и голос мужской:
— Кто?
— Можно видеть Александра Анатольевича?
— Простите! Если вы подождете минуточку, я отворю дверь и скроюсь. Я принимаю ванну...
Замок щелкнул. Зашлепали туфли. Голос из глубины квартиры крикнул:
— Входите!
Не успел я еще и дверь за собою закрыть — уже чувствую, угадываю по вещам: портрет здесь!
В передней, под вешалкой, старинный, с горбатой крышкой баул.
В стенном шкафу — корешки старинных альманахов и книг.
Над шкафом, тут же в передней, старинная картина: пруд и деревья.
Пока я оглядывал переднюю, вышел хозяин дома — высокий, красивый, тонкий, чуть-чуть сутулится. На мокром проборе — сетка.
Увидел меня — и:
— Ах, простите! Я не знал!.. Я по голосу принял вас за одного своего приятеля... Мне так неловко!
— Помилуйте! Это мне должно быть неловко.
— Позвольте познакомиться: Вульферт.
— Андроников.
— Очень приятно. Кстати, я, очевидно, знаком с вашим однофамильцем в Тбилиси.
— Почему же с однофамильцем? Может быть, даже и с родственником...
— Ах, значит, вы из Тбилиси? В таком случае, вы должны хорошо знать театр Руставели.
— Еще бы! Можно сказать, воспитан на этом театре.
— Значит, вы видели Акакия Хораву?
— Разумеется. И страшно люблю его.
— По-моему, это совершенно гениальный актер! В этом театре есть

другой, тоже потрясающий актер — Васадзе. Скажите, вы их когда-нибудь в «Разбойниках» видели? Я лично просто влюблен в их игру!

И тут завязался у нас торопливо-восторженный разговор о грузинском театре, о Малом театре, о МХАТе.

Александр Анатольевич оказался записным театралом. Несколько лет он проработал инженером на Колхидстрое и, постоянно бывая в Тбилиси, как говорится, не выходил из театра.

Из передней Вульферт ввел меня в комнату. Я покосился на стены: старинные гравюры, акварели. «Моего» портрета не видно. И за интересной беседой я чуть не забыл, зачем и пришел. Наконец я раскрыл свой портфель, вынул из него фотографию и переложил к себе на колени. Затем обратился к Вульферту:

— Простите, Александр Анатольевич, этот портрет вам знаком?

И с этими словами показал ему фотографию.

— Так это же наш Лермонтов! — вскричал Вульферт.— Откуда он у вас?

— Так это действительно Лермонтов? — удивился, в свою очередь, я.— Неужели он цел? Покажите!

— А я не спросил вас даже, зачем вы зашли, и замучил своими восторгами. Объясните мне, ради бога, откуда у вас фотография!

Я объяснил.

— Восхитительная история! — поражается Вульферт.— Сейчас настанет конец вашим поискам. Портрет где-то здесь, в этой квартире. Дед мой очень ценил его и, даже когда жертвовал свою библиотеку и рукописи в Исторический музей, с портретом не захотел расставаться. Кстати, вот фотография деда. А это вот прадед. Рядом с ним прабабка моя, Надежда Владимировна, сестра Николая Станкевича. Другая сестра была замужем за сыном Михаила Семеновича Щепкина. У деда хранился где-то портрет Михаила Семеновича, но теперь я не знаю...

Итак, я попал в дом к москвичу, предки которого были связаны со Станкевичем — выдающимся русским мыслителем, с великим актером Щепкиным.

— Погодите, сейчас покажу вам Лермонтова, — сказал Вульферт.

Он заглянул за шкаф. На шкаф. В шкаф. Под шкаф. За ширму. Пошарил за письменным столом. Потом отодвинул диван, сундук в передней...

— Странно! — проговорил он.— Портрет довольно большой, в хорошей овальной раме, писан маслом и, к слову сказать, недурным художником. Ума не приложу, где он. Очевидно, мама его куда-то запрятала... Давайте условимся так: через несколько дней моя мать, Татьяна Александровна, приедет из Крыма. Мы с ней отыщем портрет, и я вам сразу же позвоню.

Я записал ему свой телефон и ушел, оживленный приятною встречей.

«ВЫ НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ...»

Прошло две недели. Наконец Вульферт звонит.

— Вы не расстраивайтесь,— предупреждает он с первых же слов.— С портретом произошла маленькая неприятность, и я в результате чувствую себя виноватым перед вами за то, что невольно вводил вас в заблуждение. Мне прямо не хочется говорить, но портрет, к сожалению, уже не в наших руках и, боюсь, не погиб ли...

Я не мог вымолвить слова.

— Пять лет назад,— продолжал Вульферт,— когда мы переезжали из Николо-Песковского в новую нашу квартиру, моя мать отдала этот портрет одному человечку за совершенный бесценок. Это паренек, по имени Боря; раньше он служил в лавке старинных вещей на Смоленском рынке, у старика антиквара. Мама заходила иногда в эту лавку и видела там этого Борю. Потом он раз или два приносил что-то к нам на квартиру и присмотрел для себя овальную раму от лермонтовского портрета, просил продать ему, но мама отказывалась. И вот в день переезда он снова появился у нас и пристал... ну, прямо с ножом к горлу: продайте ему эту раму! Мама отдала ему раму, потом спохватилась: оказывается, он унес ее вместе с портретом.

— Как фамилия этого Бори? — спрашиваю я.

— К сожалению, мама не знает.

— А почему вы говорите, что портрет мог погибнуть?

— Да ведь, очевидно, этот Боря не представляет себе, что в его руках Лермонтов,— отвечал Вульферт.— Татьяна Александровна ему ничего не успела сказать. А после этого случая она его не видала... Я очень жалею,— заключил он,— что так получилось. Но если мы что-нибудь узнаем случайно об этом портрете, я вам позвоню.

Мы попрощались. Мне показалось, что я узнал о гибели друга.

Потеряны следы. Нить поисков оборвана. Смоленского рынка нет. Лавки древностей нет. Старика антиквара нет. Фамилия Бориса, купившего этот портрет, неизвестна. С момента продажи прошло целых пять лет. Пять лет назад портрет купил в Москве некто Борис. Это все, что я знаю. Увы! У меня слишком мало данных, чтобы продолжать дальнейшие поиски.

Однако если этот Борис не знает, что купил Лермонтова, то портрет не обнаружится сам. На это надеяться нечего. Портрет нужно искать, искать упорно, настойчиво! Если у меня мало данных, чтобы продолжать мои поиски, значит, надо собрать эти данные. И прежде всего порасспросить Вульфертов об этом бесфамильном Борисе.

Я отправился к Вульфертам.

На этот раз меня встретила немолодая, но статная черноволосая женщина с умными серо-голубыми глазами.

— Знаю, знаю все! — отвечала она с живостью, как только услыхала мою фамилию.— Саша мой мне все рассказал. «Приходил,— говорит. — Так интересно мы с ним поговорили». Я как узнала, что он

начал прямо с театра, так ему и сказала: «Ты его, верно, заговорил до смерти, он больше к нам не придет!» Я и то удивляюсь, как вам не противно с нами водиться,— продолжала она, жмурясь с шутливым неудовольствием.— Ведь с этим портретом я и сама себе места не нахожу, а уж будь я в вашем положении, я прямо с ума бы сошла!

— А как,— спрашиваю,— унес Борис эту раму?

— Да очень просто! — смеется Татьяна Александровна.— Взял под мышку да и понес. Она не тяжелая... И откуда он тут вывернулся, никак не пойму,— недоумевает она.— Нагрузили, значит, машину полную, а Саша куда-то побежал и все деньги унес. Шоферу платить нечем. И вдруг тут этот Борис, эдакий вертлявенький, белобрысенький, шепелявенький: «Отдайте мне рамощьку жа пятьдещат!» — «Да ну вас совсем! — говорю.— Берите!» Он сунул мне деньги и унес. Хватилась — милые мои! — утащил вместе с портретом... Да вы не печальтесь! Сейчас напою вас кофе, а уж как горю помочь, мы придумаем... В тридцать пятом году,— припоминает она,— Борис этот работал в Торгсине, на улице Горького, кассиром в колбасном отделе. Раньше-то он мне часто на глаза попадался, а с тех пор как портрет купил, канул как в воду: верно, боится меня. Ну, да ведь не умер же он! Вот встретила бы его — мигом бы к вам отрядила моего Александра, и достали бы вы портрет за милую душу... Да пейте же кофе, пока горячий!

Тут стало мне казаться, что все еще можно поправить: так успокоительно действовала певучая московская речь Татьяны Александровны, ее шутливый тон, ее радушное гостеприимство.

ВСТРЕЧА В КОМИССИОННОМ МАГАЗИНЕ

Нашел я знакомых, которые достали мне адрес бывшего директора магазина на улице Горького. Оказалось, что он работает директором во Владивостоке. Написал ему. Спрашивал, не помнит ли он фамилию кассира в колбасном отделе. Наверно, мой вопрос показался ему удивительным. Ответа я не дождался.

Тогда я узнал адрес бывшего замдиректора. Оказалось, что он переехал в Одессу. Написал и ему о своих злоключениях. Опять нет ответа.

Должно быть, за ненормального приняли.

Обошел я комиссионные магазины Москвы. Расспрашивал, не встречал ли кто по комиссионным делам шепелявого Бориса.

— Как фамилия? — спрашивают.

— Фамилию-то как раз и не знаю.

— Трудно сказать,— отвечают.— В Москве много Борисов.

Выкладывал перед ними на прилавок фотографию с бывшего «вульфертовского» портрета:

— Не попадал к вам этот портрет?

— Не попадал.

— Если поступит к вам на комиссию, не откажите сообщить мне по телефону.

Побывал с этой фотографией в Литературном музее. Просил позвонить, если портрет принесут к ним.

Встречаю знакомых, советуюсь с ними, как разыскать Бориса.

Заглянул к Вульфертам. Татьяна Александровна дома.

— Как живете, Татьяна Александровна?

— Не спрашивайте!

— Что так?

— Я все погубила.

— Что погубили?

— Ваш портрет.

— То есть как «мой» портрет погубили?

— Да вы слушайте!.. Зашла я как-то в Столешников переулок, в комиссионный. Только вхожу, вдруг вижу — среди публики Борис этот самый! Я как крикну: «Боренька! Боря!» — и прямо к нему. Даже самой неловко. Он обернулся. «Я,— говорю,— Татьяна Александровна Вульферт, из Николо-Песковского. Неужели не помните?» А он смотрит на меня телячьими своими глазами. «Помню,— говорит.— Я у вас рамощьку купил».— «Шут с ней, с этой рамочкой! — говорю.— Вы мне портрет верните. Это портрет нашего предка и не мне принадлежит, а моему брату. (Это я нарочно. А то сказать ему: «Лермонтов» — не отдаст!) Брат меня,— говорю,— поедом ест каждый день, требует портрет обратно». И слышу тут я от него, что портрет он какому-то художнику отдал и у того он за шкафом валяется. А раму кому-то другому уступил. Я как узнала, что цел портрет, прямо взмолилась: «Продайте его мне!» А он смеется: «Если я вам портрет принесу, вы мне за него миниатюры отдадите?» Я согласилась. «Пускай,— думаю,— миниатюры даром берет». Условились, что он на другой день принесет мне портрет. Записала ему новый адрес... И вот сижу жду его, жду — три недели прошло, а его нет!

— А вы фамилию узнали? — торопливо спрашиваю я.

— Вот то-то, что нет.

— Ах! Как же так?

— Да я спросила, а он говорит: «Ведь вам не фамилию мою к брату нести, а портрет! Не волнуйтесь, завтра приду»... Да бросьте вы хмуриться! — уговаривает меня Татьяна Александровна.— Главное, портрет цел. А уж если мне попадется теперь этот Борис, силой заставлю сказать фамилию, к милиционеру сведу. Одного только боюсь: не вздумал бы этот художник расчищать холст. Ведь там под мундиром у Лермонтова будто еще виднеется что-то. Знакомый художник один к нам ходил, все просит, бывало: «Татьяна Александровна, дайте кусочек отколупнуть, посмотреть, что там просвечивает!»

— Позвольте... А что же там может просвечивать? — спрашиваю я в испуге.

— Да я ему сама говорю: «Душа там, наверно, просвечивает». Уж не знаю, что он там нашел, только ковырять я ему не позволила.

— Ничего,— отвечаю я многозначительным тоном.— Отыщем — проверим, в чем дело. Только бы отыскать портрет поскорей! Остальное нетрудно.

НИКОЛАЙ ПАЛЫЧ

Время идет — нет портрета. Нет ни портрета, ни Бориса, ни адреса художника, у которого портрет за шкафом. Знакомые интересуются:

— Нашли?

— Нет еще.

— Что-то вы долго ищете! Портрет, наверно, давно уже ушел в другие руки. Кто же станет Лермонтова за шкафом держать!

Я объясняю:

— Так ведь нынешний владелец не знает, что это Лермонтов.

— Ну-у...— тянут разочарованно,— в таком случае, вряд ли найдете.

«Ладно,— думаю,— докажу им!»

А доказать нечего.

Решил я тогда потолковать на эту тему с Пахомовым, с Николай Палычем.

Николай Палыч знает редкие книги, старинные картины и вещи и среди московских музейных работников пользуется известностью и авторитетом.

«А Николай Палычу вы показывали?», «А что говорит по этому поводу Николай Палыч?» Такие вопросы постоянно слышишь в московских музеях.

А уж что касается Лермонтова, то никто лучше Пахомова не знает портретов Лермонтова, рисунков Лермонтова, иллюстраций к произведениям Лермонтова, музейных материалов, связанных с именем Лермонтова. По этой части Николай Палыч осведомлен лучше всех. А тут я еще узнаю, что он работает над книгой «Лермонтов в изобразительном искусстве». «Дай,— думаю,— зайду к нему. Сперва удивлю его новым портретом, а потом посоветуюсь».

Сговорился с ним по телефону и пошел к нему вечерком.

Пьем с Николай Палычем чай, звякаем ложечками в стаканах, обсуждаем наши лермонтовские дела, обмениваемся соображениями.

Наконец показалось мне, что настал подходящий момент. Расстегнув портфель, я переложил заветную фотографию к себе на колени.

— Николай Палыч,— обращаюсь я к нему с напускным равнодушием,— какого вы мнения об этом портрете?

И с этими словами поднимаю фотографию над стаканом, чтобы Николай Палычу лучше ее разглядеть. Улыбаюсь. Жду, что он скажет.



«Вульфертовский» портрет.

— Минуточку, — произносит Николай Палыч. — Что-то не вижу, родной, без очков на таком расстоянии.

Он протягивает руку к письменному столу.

— Вы говорите об э т о м портрете? — и показывает мне фотографию, такую же точно.

Я не мигая смотрю, надеясь отыскать в ней хоть небольшое отличие. Нет! Никакой решительно разницы! Так же виднеется серебряный эполет из-под воротника шинели, так же удивленно приподняты брови у Лермонтова, и глаза смотрят так же сосредоточенно и серьезно. Такой же нос, и губы, и волосы. Даже самый размер фотографии точно такой же!

Первое мгновение ошарашило меня, как нечаянный выстрел. В следующий миг и портрет, и Борис, и комиссионные магазины, и разговоры в музеях показались мне пресными, никому уже больше не нужными, как вчерашние сны.

Молчим. Я прокашлялся.

— Любопытно,— говорю.— Совершенно одинаковые!

Пахомов положил фотографию на стол и улыбнулся.

— М-да! — сказал он коротко.

Мы прихлебнули чаю.

— Откуда у вас фотография? — помолчав, спрашивает Николай Палыч.

— Пушкинский дом. А ваша?

— Исторический музей.

— Там оригинал?

— Нет, фотография. Оригинал был у Вульферта.

Все знает! В какое глупое положение я поставил себя!

Снова отхлебнули чаю и снова молчим. Наконец я решаюсь заговорить:

— Что вы думаете, Николай Палыч, об этом портрете? По-моему, интересный.

— Согласен, — отвечает Пахомов. — Весь вопрос только в том, чей портрет!

— То есть как «чей»? Понятно, чей: Лермонтова!

— Простите, а откуда вы знаете?

— Ниоткуда не знаю,— говорю.— Я только делаю выводы из не-

которых признаков. Например, офицер этот необыкновенно похож на мать Лермонтова. Вы ведь, наверно, помните, что Краевский, бывший с Лермонтовым в дружеских отношениях, говорил, что более, чем на свои собственные портреты, Лермонтов был похож на портрет своей матери. Помните, Висковатов в своей биографии Лермонтова приводит слова Краевского. «Он походил на мать свою, и если, — говорил Краевский, указывая на ее портрет, — вы к этому лицу приделаете усы, измените прическу да накинете гусарский ментик — так вот вам и Лермонтов...» Поверьте, Николай Палыч, — продолжал я, — что я уже прилаживал усики к лицу матери Лермонтова и ментик пристраивал — и сходство с «вульфертовским» портретом получается просто поразительное. И это сходство можно объяснить, по-моему, только в том случае, если на портрете изображен ее единственный сын — Михаил Юрьевич Лермонтов.



Портрет матери поэта — Марии Михайловны Лермонтовой.

— Предположим,— допускает Пахомов.

— Затем,— продолжаю я,— очевидно, у Вульферта были какие-то основания считать этот портрет лермонтовским. Не стал бы он держать его у себя да еще жертвовать фотографии в музеи, если бы ему самому он казался сомнительным. И, наконец, Лермонтов изображен здесь, очевидно, в форме Гродненского гусарского полка. В пользу этого говорит серебряный эполет на портрете, потому что в остальных полках, в которых пришлось служить Лермонтову — в лейб-гвардии гусарском, в Нижегородском драгунском и в Тенгинском пехотном,— прибор был золотой.

— Вы кончили? — спрашивает Пахомов. — Тогда позвольте возразить вам. Прежде всего, я не нахожу, что этот офицер похож на мать Лермонтова. Простите меня, но это аргумент слабоватый. Вам кажется, что похож, мне кажется — не похож, а еще кому-нибудь покажется, что он похож на меня или на вас. Мало ли кому что покажется. Нужны доказательства.

А я думаю: «Кажется, он прав. Действительно, это не доказательство».

— Вы ссылаетесь на мнение Вульферта, — продолжает Пахомов. — А я вам покажу сейчас портреты, которые их владельцы тоже выдавали за лермонтовские... Вот, полюбуйтесь.

И он протягивает мне две фотографии. На одной торчит кретин, узкоплечий, туполобый и равнодушный. На другой — пучеглазый, со щетинистыми усами и головой, втянутой в плечи, с гримасой ужасного отвращения курит длинный чубук. И впрямь, даже оскорбительно подозревать в этих изображениях Лермонтова! И снова я вынужден согласиться: мало ли что Вульферт считал...

— Что же касается формы,— продолжает неумолимый Николай Палыч,— по фотографии, конечно, ее определить невозможно, но вспомните, что серебряные эполеты носили во многих полках, не в одном только Гродненском. Лично я остерегся бы делать какие-либо выводы на основании столь шатких соображений. А теперь, родной, скажите по-честному...— и Николай Палыч дружески улыбается,— скажите, положа руку на сердце: какой же это Лермонтов? Да возьмите вы его достоверные изображения! Разве есть в них хоть капля сходства с этим портретом?

— Есть, конечно.

— Ну в чем же? — недоумевает Пахомов.— Как вы докажете это?

Молчу. Доказать нечем.

СУЩЕСТВО СПОРА

Вышел на улицу, словно ошпаренный.

Неужели же я ошибся? Неужели это не Лермонтов? Не может этого быть! Выходит, напрасно старался. Досада ужасная!

А я уже представлял себе, как Лермонтов, такой, каким он изображен на этом портрете, ранней весною 1838 года приехал на несколько дней в Петербург. Служба в военных поселениях близ Новгорода, где расквартирован Гродненский полк, подходит к концу. Бабушка хлопочет через влиятельных лиц при дворе. Со дня на день можно ожидать перевода обратно в Царское Село, в лейб-гвардии гусарский полк. И, прежде чем навсегда снять мундир гродненского гусара, Лермонтов уступил, наверно, просьбам бабушки и согласился посидеть перед художником.

Портрет, судя по фотографии, очень хороший. Очевидно, бабушка пригласила известного живописца.

Вот Лермонтов воротился на несколько дней в город, откуда за год перед тем за стихи на смерть Пушкина был сослан в Кавказскую армию. Он возмужал. Путешествие по странам Кавказа, встречи с новыми людьми в казачьих станицах, в приморских городишках, у минеральных источников, скитания по дорогам кавказским исполнили его впечатлений необыкновенных, породили в нем смелые замыслы. Пустое тщеславие и порочную суетность светского общества, где скованы чувства, где глохнут способности, не направленные ни к какой нравственной цели, он стал понимать яснее и глубже. Уже приходила



Петербург 1830-х годов. Цепной мост на Фонтанке. Третий слева направо — дом Венецкой, в котором Лермонтов останавливался в 1838 году.

ему мысль описать свои впечатления в романе, обрисовать в нем трагическую судьбу умного и талантливого человека своего времени, героя своего поколения.

Разве не можем мы прочесть эти мысли в глазах Лермонтова на «вульфертовском» портрете?

Вот, представлял я себе, Лермонтов — такой, каким он изображен на этом портрете,— возвращается под утро домой по Дворцовой набережной, вдоль спящих бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов. Хлопают волны у причалов, покачивается и скрипит плавучий мост у Летнего сада, дремлет будочник с алебардой у своей полосатой будки. Гулко отдаются шаги Лермонтова на пустых набережных. И кажется, город словно растаял в серой предутренней мгле и что-то тревожное таится в его сыром и прохладном рассвете.

Уже представлял я себе, что Лермонтов — такой, каким он изображен на этой выцветшей фотографии, в накинутой на плечи шинели,— сидит, откинувшись на спинку кресла, в квартире у бабушки, в доме Венецкой на Фонтанке, и видит в окне узорную решетку набережной, черные, голые еще деревья вокруг сумрачных стен Михайловского

замка. Уже чудился мне возле Лермонтова и низкий диван с кучей подушек, и брошенная на диван сабля, и на круглом столе стопка книг и бумаги... Свет от окна падает на лицо Лермонтова, на бобровый седой воротник, на серебряный эполет. И совсем близко, спиной к нам,— художник в кофейного цвета фраке. Перед художником — мольберт, на мольберте — портрет, этот самый...

Нет, не могу убедить себя, что это не Лермонтов! Никогда не примирюсь с этой мыслью!

Почему мы разошлись с Пахомовым во мнениях об этом портрете? Да потому, очевидно, что по-разному представляем себе самого Лермонтова.

Правда, в этом нет ничего удивительного: даже знакомые Лермонтова расходились во мнениях о нем. Те, кто сражался и странствовал с ним рядом, рассказывали, что Лермонтов был предан своим друзьям и в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Но многим он казался заносчивым, резким, насмешливым, злым. Они не угадывали в нем великого поэта под офицерским мундиром и мерили его своею малою меркой.

Так почему же я должен согласиться с Пахомовым? Разве он представил мне какие-нибудь неопровержимые данные? Разве он доказал, что на портрете изображен кто-то другой? Нисколько! Просто он очень логично опроверг мои доводы, показал их несостоятельность. Он справедливо считает, что на основании фотографии у меня нет пока серьезных данных приписывать это изображение Лермонтову. Но если бы у меня серьезные доказательства были, тогда Пахомову пришлось бы согласиться. Значит, надо отыскать портрет во что бы то ни стало. Выяснить, кто из нас прав.

ВЫСТАВКА В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

Звонят мне однажды по телефону, приглашают в Литературный музей на открытие лермонтовской выставки.

— Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, наш директор, очень просит вас быть. Соберутся писатели, товарищи с кинофабрики, корреспонденты.

Потом позвонил Пахомов:

— Хорошо, если бы вы завтра зашли. Нам с Михаилом Дмитриевичем Беляевым удалось отыскать для выставки кое-что любопытное: неизвестные рисуночки нашлись, книжечка с автографом Лермонтова.

Я пришел, когда уже расходились. В раздевалке было много знакомых. На ступеньках, перед входом в залы, стоял Бонч-Бруевич — с одними прощался, с другими здоровался, благодарил, напоминал, обещал, просил заходить.



Государственный литературный музей в Москве.

— Вот хорошо, что пришел! — пробасил он, протягивая мне руку.— Вам надо показать все непременно.

— Поздновато, поздновато! — с любезной улыбкой приветствовал меня Пахомов и гостеприимно повел в залы.

Несколько опоздавших, закинув голову, рассматривали портреты, картины, скульптуры.

— Это потом поглядим,— проговорил Пахомов.— Начнемте лучше отсюда.

И повел сразу во второй зал.

— Тут недурные вещицы,— говорил он.— Вот занятная акварелька Гау: портрет Монго Столыпина. Отыскалась в фондах Третьяковки.

Я переходил от одной вещи к другой. Около нас остановились Бонч-Бруевич и Михаил Дмитриевич Беляев.

— Ну как? — спросил Бонч-Бруевич.

— Чу̀дная выставка! — отвечал я, поднял глаза и, остолбенев, вдохнул в себя полной грудью: — А-а!

Передо мной висел «вульфертовский» портрет в скромной овальной раме. Подлинный, писанный масляными красками. Так же, как и на фотографии, виднелся серебряный эполет из-под бобрового ворот-

ника офицерской шинели, и Лермонтов смотрел поверх моей головы задумчиво и печально.

— Падайте! — воскликнул Пахомов, жмурясь от дружелюбного смеха и протягивая ко мне обе руки, словно я падал.

Я стою молча, чувствую, как краснею, и в глубоком волнении разглядываю портрет, о котором так долго, так неотступно мечтал. Я растерян. Я почти счастлив. Но какая-то тайная досада омрачает мне радость встречи. К чему были все мои труды, мои ожидания, волнения? Кому и какую пользу принес я? Все даром!

— Что ж, сударь мой, не скажете ничего? — спрашивает меня Беляев.

— Он онемел от восторга,— с улыбкой отвечает Пахомов.

— Дайте, дайте ему рассмотреть хорошенько! — требует Бонч-Бруевич.— Все-таки, можно сказать, из-за него портрет куплен.

— Почему из-за меня? — оживляюсь я.

— Это потом!— машет рукой Пахомов.— Как купили, я расскажу после. Скажите лучше: каков портрет?

— По-моему, превосходный.

— Портрет недурной,— соглашается Пахомов.— Только ведь это не Лермонтов, теперь уже окончательно.

— Как — не Лермонтов? Кто же?

— Да просто себе офицерик какой-то.

— Почему вы решили?

— Да по мундиру.

— А что же с мундиром?

— Офицер инженерных войск получается, вот что! Поглядите, дорогой мой: на воротнике сюртука у него кант... красный! А красные выпушки и серебряный прибор были в те времена в инженерных войсках. Тут уж ничего не поделаешь.

— Значит?..

— Значит, ясно: не Лермонтов.

— Так зачем же вы его повесили здесь?

— Да хоть ради того, чтобы вам показать, услыхать ваше мнение. Хоть и не Лермонтов, а пока пусть себе повисит. Он тут никому не мешает.

— А по-моему, Николай Палыч, тут еще все-таки не до конца ясно...

Пахомов мотает головой:

— Оставьте!..

СЕМЕЙСТВО СЛОЕВЫХ

Оказалось, портрет попал в Литературный музей всего лишь за несколько дней до открытия выставки.

Пришла в приемную музея старушка, принесла четыре старинные



Уголок лермонтовской выставки в Литературном музее. В овальной раме— «вульфертовский» портрет.

гравюры и скатанный трубочкой холст. Предложила купить. Развернув, предъявила портрет молодого военного, который оценила в сто пятьдесят рублей.

Закупочная комиссия приобрела гравюры, а портрет неизвестного офицера решила не покупать. Зашла старушка за ответом. Ей возвращают портрет:

— Не подходит.

Разложив на столе газету, старушка уже собиралась снова скатать холст в трубочку, но тут как раз в комнату вошел Михаил Дмитриевич Беляев. Увидев в руках старушки портрет, он заявил, что это тот самый, который разыскивает Андроников и фотографию с которого приносил в Литературный музей. Для точности заметил, что Андроников считает портрет лермонтовским, хотя Николай Палыч Пахомов держится на этот счет совершенно иного мнения. Вошедший вслед за ним Николай Палыч стал настаивать, чтобы портрет непременно приобрели. И тогда Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич распорядился купить. После этого портрет был внесен в опись музея под № 13931.

Спрашиваю в музее:

— Что за старушка?

— Слоева Елизавета Харитоновна.

— Где живет?

— Здесь, в Москве, Тихвинский переулок, одиннадцать.

Поехал в Тихвинский переулок.

— Слоеву Елизавету Харитоновну можно?

— Я Слоева.

— Вы продали на днях портрет в Литературный музей?

— Я.

— Откуда он у вас?

— Старший сын дал.

— А где ваш старший сын?

— В той комнате бреется.

— Простите, товарищ Слоев. Где вы достали портрет?

— Младший братишка принес. Он сейчас войдет... Коля, расскажи товарищу, откуда взялся портрет.

И этот Коля, студент железнодорожного техникума, рассказал мне конец моей многолетней истории:

— Ломали сарай дровяной у нас во дворе. Выбросили ломаный шкаф и портрет. Иду по двору, вижу: детишки маленькие веревку к портрету прилаживают, мокрого кота возить собираются. Я говорю: «Не стыдно вам, ребята, с портретом баловаться! Что вы, из себя несознательных хотите изображать?» Забрал у них портрет и положил на подоконник на лестнице. А старший брат шел. «Эдак,— говорит,— от парового отопления покоробятся и холст и краски». Снес я портрет домой, брат починил, где порвано, подреставрировал своими силами, протер маслом и повесил. А потом мама говорит: «Это какой-то хороший портрет. Снесу-ка я его в музей, предложу».

— А кому принадлежал шкаф из дровяного сарая? — спрашиваю я.
— Художнику Воронову.
— Где этот Воронов?
— Умер два года назад. А вещи его — портрет, шкаф — сложили в сарай.
Концы истории с портретом сошлись. Так я узнал наконец, что все эти годы портрет пролежал в Тихвинском, за шкафом у художника Воронова.

ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Вышла книга Пахомова. «Вульфертовский» портрет был воспроизведен в ней в отделе недостоверных. «Изображенный на портрете офицер мало чем напоминает Лермонтова,— прочел я на 69-й странице.— Только лоб и нос на этом портрете имеют отдаленное сходство с Лермонтовым».
Дочитал я до этого места, задумался.
Раньше мне казалось, что самое главное — найти портрет. Теперь он в музее, а главное не решено и решено, вероятно, не будет. И хотя я по-прежнему верю, что это Лермонтов, доказать это я, очевидно, не в силах. Годами, десятилетиями будет стоять портрет в темном шкафу, и тысячи пылких, вдохновенных читателей Лермонтова никогда не взглянут на это необыкновенное лицо. Великий поэт по-прежнему будет скрыт под военным мундиром. Этот мундир не снимешь...
Не снимешь? А если все-таки попытаться?
Татьяна Александровна Вульферт говорила, что под мундиром что-то виднеется. Если портрет реставрировался, как знать... может быть, поверх сюртука был написан другой сюртук, с другими кантами.
Пришел в Литературный музей, в отдел иконографии. Обращаюсь к сотрудникам:
— Можно посмотреть вульфертовский портрет Лермонтова, который висел на выставке?
— Какой?
— Вульфертовский. Вульфертам раньше принадлежал.
— Нет у нас такого.
— Ну, слоевский, который у Слоевой куплен.
— В первый раз слышим.
И вдруг одна сотрудница молоденькая восклицает:
— Так это, наверно, он говорит про андрониковский, фальшивый!
Я покраснел даже.
Выдали мне портрет. И снова я подивился выражению лица — ясного, благородного, умного.

Поднес к окну. Действительно, под серебряной пуговицей шинели и под воротником в одном месте что-то просвечивает.

Попросил лупу. Вглядываюсь. Действительно, так и кажется — под зеленой шинелью сквозь трещинки в краске что-то виднеется. Словно шинель и сюртук написаны поверх другого мундира.

А вдруг, думаю, этот мундир соответствует форме Нижегородского, Тенгинского или Гродненского полков, в которых Лермонтов служил, когда отбывал ссылку?

Выяснить это можно только с помощью рентгеновых лучей. Ведь именно благодаря им художник Корин обнаружил недавно в Москве знаменитую Форнарину. Рентген показал, что фигура ее скрыта одеждой, которая дописана позже. Корин снял верхний слой красок с картины и открыл творение Джулио Романо, ученика Рафаэля.

— Нельзя ли, — спрашиваю, — просветить портрет рентгеновыми лучами?

— Отчего нельзя? Можно. Пошлем его в Третьяковскую галерею, там просветят.

Послали портрет в Третьяковскую. Я наведывался в музей каждый день, ждал ответа.

Наконец портрет возвратился с приложением бумажки. Смысл ее был таков:

«Ничего под мундиром не обнаружено». И подпись профессора Торопова.

ЛАБОРАТОРИЯ НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ

Слышал я, что, кроме рентгеновых применяются еще ультрафиолетовые лучи. Падая на предмет, они заставляют его светиться. Это явление называется вторичным свечением или люминесценцией.

Предположим, что на документе вытравлена надпись. Она неразличима в видимом свете, ее нельзя заметить на фотографии, ее нельзя обнаружить рентгеном. Но под ультрафиолетовыми лучами ее прочесть можно.

Эти лучи обнаруживают замытые пятна крови. Они узнают о наличии нефти в куске горной породы. Они разбираются в драгоценных камнях, в сортах древесины, в составах смазочных масел, красок, чернил. Они обнаружат разницу, если вы дописали свое письмо чернилами того же самого цвета, обмакивая перо в другую чернильницу. В лабораториях консервных заводов при помощи ультрафиолетовых лучей сортируют сотни тонн рыбы. По свечению легко отличить несвежую рыбу от свежей.

Если в лермонтовском портрете мундир был дописан позднее — значит, в него были введены новые краски, которые под ультрафиолетовыми лучами могут люминесцировать иначе, чем старые.

На мысль об ультрафиолетовых лучах навела меня сотрудница Литературного музея Татьяна Алексеевна Тургенева, внучатая племянница И. С. Тургенева.

Зашел я в музей. Татьяна Алексеевна спрашивает:

— А вы не думали обратиться с вашим портретом в криминалистическую лабораторию? Это лаборатория Института права Академии наук, и находится она рядом с нами, на улице Фрунзе, десять. Вообще говоря, там расследуют улики преступлений, но вот я недавно носила к ним одну книгу с зачеркнутой надписью: предполагалось, что эта надпись сделана рукой Ломоносова. И знаете, никто не мог разобрать, что там написано, и рентген ничего не помог, а в этой лаборатории надпись сфотографировали под ультрафиолетовыми лучами и прочли. И выяснили, что это не Ломоносов! Я присутствовала, когда ее просвечивали, и уверилась, что ультрафиолетовые лучи — просто чудо какое-то! Все видно как на ладошке...

В тот же день мы с Татьяной Алексеевной, взяв портрет, отправились на улицу Фрунзе.

Когда в Институте права мы развернули портрет перед сотрудниками лаборатории и объяснили, в чем дело, все оживились, начали задавать вопросы, внимательно вглядываться в Лермонтова. Это понятно: каждому хочется знать, каков он был в жизни, дополнить новой чертой его облик. Поэтому все так охотно, с готовностью, от души вызываются помочь, когда речь идет о новом портрете Лермонтова.

В комнате, куда привели нас, портрет положили на столик с укрепленной над ним лампой вроде кварцевой, какие бывают в госпиталях и в больницах. Но через ее светофильтры проходят одни только ультрафиолетовые лучи.

Задвинули плотные шторы, включили рубильник. Портрет засветился, словно в лиловом тумане. Краски потухли, исчезли тени, и вижу: уже не произведение искусства лежит предо мною, а грубо размалеванный холст. Бьют в глаза изъяны и шероховатости грунта. Проступили незаметные раньше трещины, царапины, след от удара гвоздем, рваная рана, зашитая Слоевым...

— Это вам не рентген,— замечает Татьяна Алексеевна шепотом.

— Вижу,— отвечаю я ей.

— А полосы видите под шинелью?

— Вижу.

— Под сюртуком и впрямь что-то просвечивает,— говорит Татьяна Алексеевна вполголоса.

— По-моему, не просвечивает.

— Вы слепой! Неужели не видите? Пониже воротника безусловно просвечивает.

— Нет, не просвечивает.

— Да ну вас! — Татьяна Алексеевна сердится.— Неужели же вам не кажется, что там нарисован другой мундир?

— К сожалению, не кажется.

— Мне уже тоже не кажется! — со вздохом соглашается Татьяна Алексеевна.

Работники лаборатории разглядывают каждый сантиметр холста, поворачивают портрет, делятся мнениями.

— Как ни жаль,— говорят,— а существенных изменений или каких-нибудь незаметных для глаза надписей на полотне этим способом обнаружить не удается, и мундира там тоже нету. Видны только какие-то небольшие поправки.

— Ничего у него там нет,— соглашается Татьяна Алексеевна и с гордостью добавляет: — Предупреждала я вас, что все будет видно как на ладошке! Прямо замечательные лучи!

А криминалисты смеются:

— Есть еще инфракрасные...

ГЛАЗА ХУДОЖНИКА

Написанное карандашом письмо при помощи инфракрасных лучей можно прочесть, не раскрывая конверта. Это потому, что бумага для инфракрасных лучей полупрозрачна. А сквозь карандаш они не проходят. Документ, залитый кровью или чернилами, в свете инфракрасных лучей читается совершенно свободно, потому что лучи проходят сквозь кровь и чернила и натыкаются на типографскую краску. Благодаря этому свойству самые ловкие махинации — подделки, подчистки, поправки на деловых бумагах, на облигациях, в денежных ведомостях — инфракрасные лучи, можно сказать, видят почти насквозь.

Если бы в составе красок, которыми написан портрет, оказались краски, не прозрачные для инфракрасных лучей, то тайна мундира была бы раскрыта.

Портрет сфотографировали в инфракрасных лучах и с лицевой стороны и с обратной, но и этим способом ничего невидимого так и не увидели.

Не оправдались мои расчеты! А между тем, кажется мне, способ доказать, что это лермонтовский портрет, один: обнаружить у него другой мундир под этим мундиром.

«Э,— думаю,— лучи лучами, а это — искусство. Здесь нужен живой человек. Посоветуюсь с Кориным. Это художник замечательного таланта, тончайшего вкуса, глаз у него острый. Поможет!»

Позвонил ему, попросил зайти в Литературный музей.

Встретились. Привел его к портрету.

— Вот,— говорю,—Павел Дмитриевич, хочу услышать ваше мнение: может ли тут оказаться под мундиром другой мундир или нет? Ни рентген, ни ультрафиолетовые лучи, ни лучи инфракрасные ничего не показывают.

— А что вы хотите узнать? — тихим голосом и неторопливо спрашивает Корин.
— Хочу установить, кто изображен на портрете.
— Так, мне кажется, это довольно ясно: Лермонтов, очевидно?
— Позвольте, как вы узнали?
— По лицу узнаю: похож! А по-вашему, кто это?
— И по-моему, тоже Лермонтов.
— Так в чем же дело?
— Дело в том, что у меня нет доказательств.
— Как же нет! Главное доказательство — сходство.
— Но ведь сходство — не документ!
— Так вы же не спрашиваете документы у своих знакомых, прежде чем поздороваться с ними,— так узнаёте! — улыбается Корин.
— Верно! Но согласитесь, Павел Дмитриевич,— отвечаю,— сходство можно оспаривать. Есть люди, которые с вами и со мной не согласны. Считают, что не похож.
— Как же так — не похож? — недоумевает Корин.— Овал, пропорции, черты лица — лермонтовские. Писано с натуры. В хорошей манере. В тридцатых годах. Мастер безусловно очень умелый. А почему, собственно, вас интересует, есть ли другой мундир?
— Да этот мундир не подходит.
— Ах, вот что! Понятно! Но, к сожалению, вмешательства чужой кисти здесь нет,— озабоченно говорит Корин.— Снизу кое-где видны мелкие авторские поправочки. И все. Расчищать портрет незачем. Вы его только испортите.
— Что же вы посоветуете?
— Поищите другой способ утвердиться в вашей точке зрения. Такой способ, мне кажется, должен существовать. Идите от лица, от сходства. У меня лично оно сомнений не вызывает.

ВТОРАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В то время, когда я еще жил в Ленинграде и работал в Пушкинском доме, сдружился я с Павлом Павловичем Щеголевым. Его уже нет, к несчастью. Он умер еще в тридцать шестом году.

Это был молодой профессор, очень талантливый историк, человек великолепно образованный, острый.

У него я познакомился с его другом — известным юристом, профессором Ленинградского университета Яковом Ивановичем Давидовичем, большим знатоком трудового законодательства.

Сидя в кабинете у Щеголева, я не раз бывал свидетелем необыкновенной игры двух друзей. Яков Иванович еще в передней, еще потирает руки с мороза, а Пал Палыч уже посылает ему свой первый вопрос:

— Не скажете ли вы, дорогой Яков Иванович, какого цвета были выпушки на обшлагах колета лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка?

— Простите, Пал Палыч, это детский вопросик,— снисходительно усмехается Яков Иванович, входя в комнату и раскланиваясь.— Что выпушки в Кирасирском полку были светло-синие, известно буквально каждому. А вас, в свою очередь, дорогой Пал Палыч, я попрошу назвать цвет ментика Павлоградского гусарского полка, в котором служил Николай Ростов.

— Зеленый,— отвечает ему Пал Палыч.— А султаны в лейб-гвардии Финляндском?

— Черные!

— Ответьте мне, дорогой Яков Иванович,— снова обращается к нему Пал Палыч,— в каком году сформирован Литовский лейб-гвардии полк?

— Если мне не изменяет память, в тысяча восемьсот одиннадцатом.

— А в каких боях он участвовал?

— Бородино, Бауцен, Дрезден, Кульм, Лейпциг. Я называю только те сражения, в которых он отличился. Я не сказал еще, что этот полк в числе первых вошел в Париж.

— Яков Иваныч, этого, кроме вас, никто не помнит! Вы гигант! Вы колоссальный человек! — восхищается Пал Палыч.

По правде сказать, эти восторги были мне недоступны. Я ничего не знал ни о выпушках, ни о ташках, ни о вальтрапах, в специальных вопросах военной истории был не силен. Я уставал следить за этой игрой, начинал потихоньку зевать и прощался. Теперь, размышляя о портрете, я все чаще вспоминал о необыкновенных познаниях Якова Ивановича.

«Если, — рассуждал я, — Корин прав:

1) если о поисках другого мундира надо забыть (а в этом Корин прав безусловно);

2) если исходить из того, что это все-таки Лермонтов, то остается —

3) подвергнуть изучению мундир, в котором Лермонтов изображен на портрете».

Одному мне в этом вопросе не разобраться. И специально, чтобы повидать Давидовича, поехал я в Ленинград.

Изложил свою просьбу по телефону. Прихожу к нему домой, спрашиваю еще на пороге:

— Яков Иваныч, в форму какого полка мог быть одет офицер в девятнадцатом веке, если на воротнике у него красные канты?

— Позвольте... Что значит красные? — возмущается Яков Иванович.— Для русского мундира характерно необычайное разнообразие оттенков цветов. Прошу пояснить: о каком красном цвете вы говорите?

— Об этом! — И я протягиваю клочок бумаги, на котором у меня скопирован цвет канта.

— Это не красный и никогда красным не был! — отчеканивает Яков Иванович.— Это самый настоящий малиновый, который, сколько мне помнится, был в лейб-гвардии стрелковых батальонах, в семнадцатом уланском Новомиргородском, в шестнадцатом Тверском драгунском и в лейб-гвардии Гродненском гусарском полках. Сейчас я проверю...

Он открывает шкаф, перелистывает таблицы мундиров, истории полков, цветные гравюры...

— Пока все правильно,— подтверждает он.— Пойдем дальше... Если эполет на этом мундире кавалерийский — в таком случае стрелковые батальоны отпадают. Остаются драгуны, уланы и Гродненский гусарский полк. Тверской и Новомиргородский тоже приходится исключить: в этих полках пуговицы и эполеты «повелено было иметь золотые». А на вашем портрете дано серебро. Следовательно, это должен быть Гродненский... А как выглядит самый портрет?

Я показываю ему фотографию.

— Вы дитя! — восклицает Яков Иванович.— Это же сюртук кавалериста тридцатых годов. В это время в Гродненском полку введены перемены и на доломаны присвоены синие выпушки. Но сюртуки оливкового цвета сохранены по 1845 год, и до 1838 года на них оставался малиновый кант. В этом вы можете убедиться, просмотрев экземпляр рисунков, специально раскрашенных для Николая Первого... Итак,— заключает Яков Иванович, складывая книги высокими стопками,— все сходится в пользу Гродненского.

— Яков Иванович,— восклицаю я,— вы даже не знаете, какой важности сообщение вы делаете! Ведь на основании ваших слов получается, что это Лермонтов.

— Простите,— останавливает меня Яков Иванович,— этого я не говорю! Пока установлено, что это офицер гусарского Гродненского полка. И не больше. А Лермонтов или не Лермонтов — это не по моей части.

МЕТОД ОПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Гродненский гусар! Круг людей, среди которых жил этот офицер, сузился теперь до тридцати — сорока человек: офицеров в Гродненском полку в 30-х годах было не больше...

Кажется, уже близок конец. И тем не менее вот тут-то и непонятно, что делать дальше.

Вернулся в Москву. Снова ломаю голову. Снова сижу и смотрю на фотографию, словно жду, что она заговорит. Конечно, было бы недурно, если бы портрет сам сказал, с кого он писан.

А как же, интересно, поступают в тех случаях, когда человек не говорит? Когда он не может или не хочет назвать свое имя? Совершенно ясно, что такого должны опознать другие.

А если его никто не знает или не хочет назвать? Тогда, очевидно, опознают по фотографии.

А если нет фотографии? Может ли служить этой цели живописный портрет?

Снова отправляюсь с портретом в криминалистическую лабораторию.

— А, здравствуйте! — говорят.— Снова к нам?

— Да, интересуюсь, как опознают личность при розыске, если нет фотографии.

— В таких случаях применяется учение о словесном портрете.

— А что такое словесный портрет?

— Сейчас объясним.

Криминалистическая наука отбрасывает при опознании личности такие признаки, как, например: толстый, худой, румяный, бритый, седой. Сегодня человек румян — завтра бледен. Сегодня брит — через месяц с густой бородой. Сегодня седой — назавтра взял и покрасился. Поэтому криминалисты опираются на признаки внешности характерные и устойчивые, которых не могут изменить ни обстоятельства, ни время, ни сам человек. Устойчивыми признаками криминалисты считают: рост, строение фигуры, фас и профиль лица; строение и размеры лба, носа, ушей, губ, подбородка, разрез глаз, цвет радужной оболочки и проч. Составленное на основании этих признаков описание — словесный портрет — оказывается каждый раз очень точным. И это потому, что устойчивые признаки внешности одного человека никогда не совпадают со всеми признаками другого, как не совпадают, например, отпечатки их пальцев.

— А что вы, собственно, хотите узнать? — спрашивают у меня.

Я объясняю:

— С мундиром все уже выяснил. Теперь помогите опознать изображенную на портрете личность: Лермонтов, в конце концов, или не Лермонтов?

— Знаете что,— говорят,— посоветуйтесь с Сергеем Михайловичем. Может быть, он и возьмется. Уж если он даст заключение — ваши сомнения будут разрешены.

— А кто такой Сергей Михайлович?

— Как? Вы не знаете? Это профессор Потапов! Ученый с мировым именем, один из основоположников русской криминалистики, лучший знаток судебной фотографии, создатель научного почерковедения, высший авторитет в области криминалистической идентификации! Он, кстати, любит разные сложные, запутанные вопросы и, вероятно, заинтересуется вашим портретом...

— Сергей Михайлович, можно к вам?

И вводят меня в кабинет.

За столом — пожилой человек с волосами, гладко зачесанными наверх, с крохотной седой бородкой. На спокойном, умном лице — карие глаза, живые и быстрые.

Представили меня ему. Выслушал он мою просьбу внимательно, рассматривал портрет пристально, тонким голосом задавал вопросы. Наконец обратился к сотрудникам.

— Попробуем применить к данному случаю учение об идентификации на основе словесного портрета,— сказал он. И мне: — Попрошу вас доверить нам этот портрет, прислать репродукции со всех имеющихся изображений этого же лица и дать месяц сроку.

Выходим из кабинета, я спрашиваю:

— Что он собирается делать?

Мне объясняют:

— Учение об идентификации, которое Сергей Михайлович решил применить для вашего случая, построено на основе словесного портрета. Это учение доказывает, что если на сличаемых изображениях представлено одно и то же лицо, то при совпадении двух устойчивых точек лица сами собой должны совпасть и все остальные точки. Если же они не совпадут, то, следовательно, это изображение разных людей, ибо изображения разных людей, как доказывает криминалистика, не совпадают и не могут совпасть. Фотографические изображения сличаются часто, но живописные портреты — впервые.

Прощаемся — жмут руку:

— Можете спать спокойно. Раз взялся сам — через месяц точно будете знать: да или нет.

ОТВЕТ ПРОФЕССОРА ПОТАПОВА

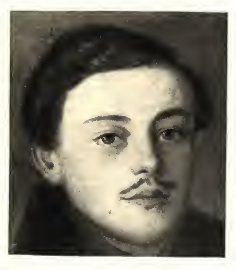
Прошел месяц. И вот мне вручают пакет и письмо на мое имя. Разрываю конверт и первое, что вижу,— заглавие:

Мнение профессора С. М. Потапова...

Я не знаю еще приговора, но судьба моя уже решена. С глубоким волнением начинаю читать строки этого документа.

> С целью осуществления попытки решить поставленный вопрос путем сравнения признаков лица... с имеющимися образцами несомненных изображений Лермонтова,— читаю я,— были рассмотрены существующие репродукции с его известных портретов...

Из присланных ему репродукций профессор Потапов выбрал фотографию с миниатюры, написанной в 1840 году художником Заболотским, на которой Лермонтов изображен в том же повороте, что и на «вульфертовском» портрете. Эти изображения Потапов решил сличить. Прежде всего он довел их до равной величины, заказав с них такие фотографии, чтобы расстояние между двумя устойчивыми точками лица было на них совершенно одинаковое. В качестве масштаба для обеих фотографий он взял расстояние между окончанием мочки



А. *Беру «вульфертовский» портрет...*



Б. *Накладываю на него портрет Заболотского...*

уха и уголком правого глаза на портрете Заболотского. Когда лица на портретах стали одинакового размера, по ним изготовили два крупных диапозитива — пересняли изображения на стеклянные пластинки.

При наложении этих диапозитивов один на другой и рассматривании их иа просвет...— читаю я...

Очевидно, они в пакете. Разрываю бечевку, торопливо скидываю крышку с коробки, осторожно вынимаю из нее два темных стекла — диапозитивы, о которых пишет Потапов.

Поднимаю их к свету. На одном — увеличенная миниатюра Заболотского, на другом — уменьшенный «вульфертовский» портрет. Продолжая разглядывать их, аккуратно складываю вместе, один на другой, совмещаю окончания мочек ушей... совмещаю уголки глаз... И — чудо! Изображения сразу исчезли, словно растаяли. Они слились воедино, в новый — третий — портрет. Совпали и брови, и глаза, и носы, и губы, и подбородки, и уши!.. Не совпали только прически, да левую щеку на портрете Заболотского ободком облегает щека «вульфертовского» портрета. Но разве прически и полнота щек относятся к устойчивым признакам? И еще прежде чем дочитано до конца заключение Потапова, я уже предугадываю вывод:

следует высказать мнение, что доставленный тов. Андрониковым портрет масляными красками представляет собой один из портретов М. Ю. Лермонтова.

«Какая радость, — думаю я. — Какая замечательная работа! Выдающийся советский криминалист впервые в истории криминалистики взялся за опознание личности неизвестного офицера на живописном портрете прошлого века, и с каким блеском продемонстрировал он точность криминалистических методов!»



А. Б. *Совмещение обоих портретов: Лермонтов — самый похожий!*

Потапов опасался, что если художники нарушили пропорции между отдельными чертами лица, то, стало быть, портреты не похожи на оригинал и при сличении их ничего не получится. Но, к счастью, все получилось.

И я продолжаю с огромным волнением и радостью рассматривать это волшебное слияние двух разных изображений в одно живое лицо. Как удивительно изменились глаза! Рассеянный, задумчивый взгляд «вульфертовского» портрета сделался пристальным и сосредоточенным и, кажется, устремлен теперь прямо на вас. Какое счастье, что оба художника были верны натуре! Соблюдая реальные соотношения лица, они с большой точностью запечатлели черты великого своего современника.

Я перечитываю заключение Потапова. Это исчерпывающий ответ не только на предложенный мною вопрос — это ответ и тем, кто не узнаёт Лермонтова на новом портрете.

Результаты достигнуты не случайно. Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи. Криминалисты применили к портрету свои точные методы, и если бы мне не помог Яков Иванович, то Сергей Михайлович Потапов все равно узнал бы в лицо этого офицера и сказал бы нам, что это все-таки Лермонтов.

Гляжу я на этот портрет и только теперь, когда уже окончены поиски и собраны доказательства, могу сказать вам, как полюбил я его и как трудно было бы мне приучить себя к мысли, что это не Лермонтов. Сколько лермонтовских стихов, сколько представлений о живом Лермонтове связал я с этим благородным изображением!

Скажем же о нем на прощание словами самого Лермонтова:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой.





ЗАГАДКА Н. Ф. И.

Я не могу ни произнесть,
Ни написать твое названье:
Для сердца тайное страданье
В его знакомых звуках есть;
Суди ж, как тяжко это слово
Мне услыхать в устах другого.

Лермонтов

ТАИНСТВЕННЫЕ БУКВЫ

На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне предстояло выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих стихотворений, написанных в 1830 и 1831 годах.

В этих стихотворениях семнадцатилетний Лермонтов обращается к какой-то девушке. Но имени ее он не называет ни разу. Вместо имени в заглавиях стихотворений, ей посвященных, стоят лишь три на-

чальные буквы: «Н. Ф. И.». А между тем в лермонтовской биографии нет никого, чье имя начиналось бы с этих букв.

Вот названия этих стихотворений:

«Н. Ф. И.», «Н. Ф. И....вой», «Романс к И...», «К Н. И...»

Читая эти стихи, нетрудно понять, что Лермонтов любил эту девушку долго и безнадежно. Да и она, видимо, сначала любила его, но потом забыла, увлеклась другим, и вот оскорбленный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком:

Я недостоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но... женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит! —
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье! —
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!

Значит, эта девушка понимала Лермонтова, была его задушевным другом. Кто-то, видимо, даже упрекал ее за сочувствие к поэту...

Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не написал ее имени. Я не знаю, почему за сто лет эту загадку не удалось разгадать ни одному биографу Лермонтова. Я знаю только одно, что в новом издании

Къ Н: И.....

Я недостоинъ можетъ быть
Твоей любви: не мнѣ судить;
Но ты обманомъ наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу что ты
Несправедливо поступила.—

Ты не коварна какъ змѣя
Лишь часто новымъ впечатлѣньямъ
Душа вверяется твоя;
Она увлечена мгновеньемъ;
Ей милы многіе, вполнѣ
Еще никто; но это мнѣ
Служить не можетъ утѣшеньемъ.—
Въ тѣ дни, когда любимъ тобой
Я могъ доволенъ быть судьбой,
Прощальной поцелуй однажды
Я сорвалъ съ нѣжныхъ устъ твоихъ;
Но въ зной, среди степей сухихъ
Не утоляетъ капля жажды.
Дай богъ чтобъ ты нашла опять
Что не боялась потерять;
Но.... Женщина забыть не можетъ
Того кто такъ любилъ какъ я;
И въ часъ блаженнѣйшій тебя
Воспоминаніе встревожитъ!—
Тебя раскаянье кольнетъ
Когда съ насмѣшкой проклянетъ
Ничтожный міръ мое названье!—
~~Надежды не хочу~~ И побоишься защитить,
Чтобы въ преступномъ состраданьѣ
Вновь обвиняемой не быть!—

Стихотворение «К Н. И...», написанное рукой Лермонтова.

сочинений Лермонтова надо сделать точное и краткое примечание: «Посвящено такой-то».

И я принялся за работу.

ДНЕВНИК В СТИХАХ

И вот уже которую ночь сижу я за письменным столом и при ярком свете настольной лампы перелистываю томик юношеских стихотворений Лермонтова. Внимательно прочитываю каждое, сравниваю отдельные строчки.

Вот, например, в стихотворении, которое носит заглавие «К***», Лермонтов пишет:

> Я помню, сóрвал я обманом раз
> Цветок, хранивший яд страданья,—
> С невинных уст твоих в прощальный час
> Непринужденное лобзанье...

«Надо заметить, — думаю я, — что о прощальном поцелуе в этом стихотворении сказано почти так же, как в стихах, обращенных к Н. И. Написаны же они почти в одно время».

Так, может быть, и это стихотворение обращено к ней? Может быть, под тремя звездочками скрывается все та же Н. Ф. И.? Тогда, наверно, ей адресовано и другое стихотворение «К***»:

> Не ты, но судьба виновата была,
> Что скоро ты мне изменила...

А в таком случае о ней же, видимо, идет речь в стихотворениях: «Видение», «Ночь», «Сентября 28», «О, не скрывай! ты плакала об нем...», «Стансы», «Гость», и во многих других. Потому что в них тоже говорится о любви и об измене.

Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа.

Да, теперь уже понятно, что Лермонтов посвятил неведомой нам Н. Ф. И. не четыре, а целых тридцать стихотворений. Непонятно только, как звали эту Н. Ф. И., и еще менее понятно, как я смогу это узнать.

И вот я снова перечитываю все, что Лермонтов создал в это время.

Летом того же 1831 года Лермонтов написал драму «Странный человек». Он рассказал в ней о трагической судьбе молодого поэта Владимира Арбенина. Арбенин любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Любит и она его. Но вот она увлеклась другим, забыла Арбенина, изменила своему слову. В конце пьесы Арбенин сходит с ума и погибает накануне свадьбы Загорскиной.

И тут, в этой пьесе, как и в стихах, Лермонтов рассказывает об измене.

«Мы должны расстаться: я люблю другого!.. я подам вам пример: я вас забуду!» — говорит Наташа Загорскина Арбенину.

— Ты меня забудешь? — ты? — переспрашивает Арбенин в бесконечном отчаянии, — о, не думай: совесть вернее памяти; не любовь, раскаяние будет тебе напоминать обо мне!..»

Совсем как в стихах «К Н. И.....»:

Тебя раскаянье кольнет...

Прямо поразительно, до чего речи Арбенина напоминают послания Лермонтова к Н. Ф. И.!

Но вот стихотворение Арбенина:

Когда одни воспоминанья
О днях безумства и страстей
На место славного названья
Твой друг оставит меж людей,
Когда с насмешкой ядовитой
Осудят жизнь его порой,
Ты будешь ли его защитой
Перед бесчувственной толпой?

Это стихотворение Арбенин посвятил Загорскиной. Но так и кажется, что последние четыре строчки я уже где-то читал, в каком-то другом стихотворении Лермонтова... Впрочем, я, кажется, совсем сошел с ума! Ведь это же «Романс к И...»!

Сравниваю оба стихотворения: так и есть! Сначала Лермонтов вписал в черновик «Странного человека» «Романс к И...». А потом первые строчки переменил.

Значит, Арбенин посвящает Наталье Федоровне Загорскиной как раз те самые стихи, которые Лермонтов посвящал Н. Ф. И. Так, наверно, в «Странном человеке» он и рассказывает о своих отношениях с Н. Ф. И.?

«Постой,— говорю я себе,— ключ где-то здесь... Если в «Странном человеке» Лермонтов изобразил свои отношения с Н. Ф. И., а Загорскину зовут Наталией Федоровной, то... может быть, и Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной? Очевидно, это имя Лермонтов выбрал для пьесы не случайно. Может быть, и Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной?

Чувствую, что разгадка близко, а в чем она заключается — понять не могу... «Дай,— думаю,— перечитаю всё сначала!»

Открываю «Странного человека». На первой странице — предисловие Лермонтова. Сколько раз я читал его! А тут вдруг словно в первый раз понимаю его конкретный смысл. Лермонтов пишет: «Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго

беспокоило меня, и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет. Лица, изображенные мною, все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны...»

Как я раньше не понял этого! Лермонтов изобразил в своей драме подлинные события и живых людей. Мало того: он хотел, чтобы они были узнаны. Сам Лермонтов, можно сказать, велит мне узнать имя Н. Ф. И. и выяснить подлинные события!

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА КЛЯЗЬМЕ

Легко сказать: выяснить! Как выяснить? Если бы сохранились письма Лермонтова — тогда дело другое. Но из всех писем за 1830 и 1831 годы до нас дошло только одно. Это коротенькая взволнованная записочка, адресованная Николаю Поливанову — другу университетской поры, уехавшему на лето из Москвы в деревню. Написана она 7 июня 1831 года, когда Лермонтов, как видно, находился в ужасном состоянии.

«Я теперь сумасшедший совсем,— пишет он Поливанову.— Болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было...»

Сообщая Поливанову о предстоящей свадьбе его кузины, Лермонтов посылает к черту все свадебные пиры и пишет: «Мне теперь не до подробностей... Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы...»

Такое письмо мог бы послать другу Владимир Арбенин. Впрочем, это совершенно понятно. И письмо и «Странный человек» написаны почти в одно время: письмо — от 7 июня, а «Странного человека» Лермонтов закончил вчерне 17 июля. Очевидно, приступил к работе над ним в июне. Значит, в пьесе рассказано о тех самых событиях, о которых Лермонтов сообщает Поливанову. Но Поливанов знал об этих событиях, а я не знаю!.. Взглянуть бы на это письмо своими глазами! Может быть, там есть какая-нибудь начатая и вычеркнутая фраза или неверно разобранное слово. Мало ли что бывает!.. Где оригинал письма?

Оригинал хранится в Пушкинском доме.

Еду в Пушкинский дом. Прошу в Рукописном отделении показать мне письмо к Поливанову. Гляжу — и глазам не верю: да, оказывается, это вовсе не письмо Лермонтова! Это письмо лермонтовского друга Владимира Шеншина, а на этом письме — коротенькая приписка Лермонтова. А Шеншин, сообщая Поливанову различные московские новости, между прочим пишет: «Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он был в вашем соседстве, у Ивановых), меня утешает своею беседою...»

Теперь все ясно! В начале июня 1831 года Лермонтов гостил у каких-то Ивановых. Весьма возможно, что к этой семье и принадлежала Н. Ф. И.— Наталия Федоровна... Иванова?!



Середниково — подмосковное поместье Столыпиных. Здесь Лермонтов писал свои послания к Н. Ф. И.

Шеншин пишет: «...пять дней не видался». Значит, Ивановы эти жили недалеко от Москвы. Что это так именно и было, подтверждается «Странным человеком». Там описано, как Арбенин едет в имение Загорскиных, расположенное на берегу Клязьмы. А Клязьма протекает под Москвой. И там же, неподалеку от Клязьмы, Лермонтов каждое лето гостил у родных — у Столыпиных, в их Середникове. Итак, все сходится!

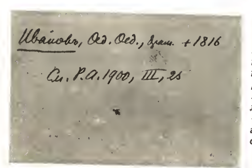
7 июня 1831 года Лермонтов вернулся в Москву от Ивановых, где узнал об «измене» Н. Ф. И., и тут же начал писать «Странного человека», в котором рассказал об этой «измене». А если так, то, значит, в стихотворении, которое носит заглавие «1831-го июня 11 дня», Лермонтов обращается все к той же бесконечно любимой им девушке:

Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?

Он хотел, чтоб рядом с его именем мы повторяли ее имя. Но — увы! — для того чтобы повторять, надо знать это имя. А этого-то как раз мы и не знаем.

ЗАБЫТЫЙ ДРАМАТУРГ

Хорошо! Допустим, что ее звали Наталией Федоровной Ивановой. Но кто она? В каких книгах, в каких архивах хранятся сведения об этой таинственной девушке?



Одна из 300 000 карточек Б. Л. Модзалевского, на которой вкратце обозначено, что Иванов Федор Федорович, драматург, умер в 1816 году и что об этом можно прочесть в журнале «Русский архив» за 1900 год в третьем томе на 25-й странице.

Прежде всего, конечно, следует взглянуть в картотеку Модзалевского в Пушкинском доме. Это самый полный и самый удивительный словарь русских имен. Если Модзалевский хоть раз в жизни встретил имя Н. Ф. Ивановой в какой-нибудь книжке, то, значит, он выписал его на карточку и я непременно обнаружу его в картотеке.

Неудача! Наталии Федоровны Ивановой в картотеке Модзалевского нет. Это значит, что собрать о ней даже самые скудные сведения будет необычайно трудно. А я не знаю даже, когда она родилась.

Про Загорскину в «Странном человеке» сказано, что ей восемнадцать лет. Если допустить, что и Н. Ф. И. в 1831 году было восемнадцать лет, то выходит, что она родилась в 1813 году. Значит, она была на год старше Лермонтова. Очевидно, так и было в действительности.

А что можно еще извлечь из текста «Странного человека»?

Снова перелистываю пьесу. Отчеркиваю любопытную деталь. Приятель Арбенина спрашивает про Загорскиных:

«— Их две сестры, отца нет? так ли?

— Так»,— отвечает Арбенин.

Если в драме изображены подлинные события, то весьма возможно, что и у Н. Ф. И. была сестра, а отца не было. То есть... как «не было»? Не было в 1831 году! В 1813 году, когда Н. Ф. И. родилась, отец был. Звали его, как нетрудно сообразить, Федором Ивановым.

Другими словами, мне нужен такой Федор Иванов, который в 1813 году был еще жив, а к 1831 году уже умер. И чтоб у него было две дочери. И хотя у меня не слишком много примет этого Иванова, тем не менее такого Иванова надо найти. И посмотреть, не годится ли он в отцы Н. Ф. И.

Еду в Пушкинский дом. Просматриваю в картотеке Модзалевского всех Ивановых. Выбираю всех Федоров. Узнаю, что один из них умер в Москве, в 1816 году. Этот подходит.

Выясняется, что это популярный драматург начала XIX века, Федор Федорович Иванов, автор нашумевшего в свое время водевиля «Семейство Старичковых», друг поэтов Батюшкова, Вяземского и Мерзлякова, известный всей Москве хлебосол, весельчак и театрал.

Просматривая в библиотеке книги, из которых Модзалевский выписал имя Иванова, я обнаружил некролог Иванова, а в некрологе — строчки: «Он оставил в неутешной печали вдову и двух прелестных малюток».

Значит, у Иванова было двое детей лермонтовского возраста — может быть, Н. Ф. И. и ее сестра? Но, к сожалению, только «может быть». А «наверное» я так ничего и не узнал.

ТАЙНА ВАГАНЬКОВА КЛАДБИЩА

Я сам понимал, что иду неправильным путем. Ясно, что в начале 30-х годов Н. Ф. И. вышла замуж и переменила фамилию. Гораздо естественнее было бы обнаружить ее под фамилией мужа, чем в биографии Ф. Ф. Иванова, умершего в то время, когда она была еще младенцем.

Сведения о том, за кого она вышла замуж, проще всего почерпнуть из родословных. В дворянских родословных книгах каждый представитель рода занумерован по порядку и о каждом пропечатано: когда родился, где и когда служил, на ком был женат, каких имел детей, какими награжден орденами и чинами и когда умер. А про женщин — за кого вышла замуж.

Существуют сотни таких родословных сборников — и княжеских, и графских, и баронских, и просто знатных дворянских фамилий. Беда только в том, что фамилия Ивановых не принадлежала к числу знатных. И родословная дворян Ивановых не составлялась. Следовательно, узнать по родословным книгам, за кого девица Иванова вышла замуж, нельзя.

Оставалось последнее: выяснить, кто в XIX веке женился на девицах, носивших фамилию Иванова.

Я выписал в библиотеке Пушкинского дома все родословные книги, какие там есть, сложил их штабелями возле стола и принялся

192 ОБРЕСКОВЫ.

№№ | №№ отцовъ.

42. Павелъ Александровичъ, гв. корнетъ (холостъ) . . . .
43. Александръ Александровичъ, поручикъ, Дмитровскій уѣздный предводитель дворянства (1835—1851), † безд. 1863. Былъ женатъ . . . . 30.

Марія Александровна, за штабсъ-капитаномъ Пановымъ . . . .

Наталья Александровна, за губ. секр. Мельгуновымъ.

Екатерина Александровна, за Никитою Николаевичемъ Шеншинымъ . . . .

Варвара Александровна, за Николаемъ Николаевичемъ Воронцовымъ-Вельяминовымъ (его 1-я жена)

44. Алексѣй Михайловичъ, поручикъ Кавалергардскаго полка (1812), р. 1788 . . . .
45. Дмитрій Михайловичъ, тайн. сов. (14 апрѣля 1840), р. 1790, † 1864. Ж. Наталья Васильевна Шереметева.
46. Александръ Михайловичъ, тайн. сов., быв. посланникъ въ Туринѣ, р. 1790. Ж. графиня Наталья Львовна Соллогубъ . . . .
47. Николай Михайловичъ, поручикъ, за «постыдный офицерскому званію поступокъ» разжалованъ (30 мая 1826) и лишенъ дворянскаго достоинства; уволенъ изъ военной службы 14-мъ классомъ въ 1833; въ гражданской службѣ съ 1836, тит. сов. (28 декаб. 1843); 14 февраля 1846 возвращены ему права потомственнаго дворянства, распространенныя на сыновей его 26 января 1849; надв. сов. (1857), р. 1800. Ж. Наталья Θеодоровна Иванова. 35.

Екатерина Михайловна, р. 1798, за генералъ-маіоромъ барономъ Владиміромъ Ивановичъ Лёвен-

Страница из родословного сборника В. Руммеля и В. Голубцова. Н. Ф. Иванова значится женою Николая Михайловича Обрескова (№ 47).

перелистывать. Сколько испытал я за этим многодневным занятием внезапных радостей и сколько ужасных разочарований!

«Иванова. 2-я жена князя Мещерского...» Не годится — Елена Ивановна!

«Иванова. Любовь Алексеевна, жена коллежского регистратора Бартенева...» Не годится.

«Иванова. Жена штабс-капитана Кульнева...» Глафира Ильинична! Не подходит.

«Иванова Наталья Феодоровна, жена...»

Чувствую: все замерло во мне и перевернулось. Чья жена?

Оказывается, мой палец остановился в середине родословной дво-

рян Обресковых. И Наталия Федоровна Иванова значится в этой книге женой какого-то Николая Михайловича Обрескова, о котором тут же и сказано, что это поручик, за «постыдный офицерскому званию поступок» разжалованный и лишенный дворянства в 1826 году. В 1833 году уволен из военной службы 14-м классом, в гражданской службе с 1836 года.

Далее указано, что ему возвращены права потомственного дворянства и что в конце 50-х годов он имел чин надворного советника.

Ну, думаю, сейчас буду знать решительно все! В картотеке Модзалевского пересмотрю карточки с именем Обрескова, перелистаю несколько книг, в которых он упомянут, и тогда мне уже станет ясной судьба Н. Ф. И.

Из читального зала снова отправляюсь в Рукописное отделение.

Роюсь в картотеке Модзалевского... Отец Обрескова, генерал-лейтенант, есть. Брат, посланник в Турине, есть. Про них Модзалевский читал. Но никакого Николая Михайловича Обрескова нет и в помине. А это значит, что Модзалевский и не читал о нем ничего — ни разу в жизни не встретил его имени в печати. Это тем более удивительно, что Обресков разжалован в 1826 году, когда как раз закончился суд по делу об арестованных за участие в декабрьском восстании 1825 года. И я уж даже подумал, не был ли Обресков замешан в восстании.

Посмотрел в «Алфавит декабристов». Обрескова нет!

Выходит, что Н. Ф. И. и замуж вышла за человека, о котором известно почти так же мало, как и о ней самой. А если так, то уж теперь, кажется, больше ничего не придумаешь. На этот раз, видно, заехал в тупик.

Впрочем, один ход у меня еще остается.

Я нигде ничего не мог узнать о Наталии Федоровне Ивановой, но это еще не значит, что я не найду каких-нибудь сведений о Наталии Федоровне Обресковой.

Правда, этого имени в картотеке Модзалевского нет. Но, может быть, я найду его в каких-нибудь адрес-календарях или справочниках, которые Модзалевский на карточки не расписывал.

И я снова принялся перелистывать страницы алфавитных указателей и адрес-календарей. И снова принимаюсь просматривать некрополи.

«Некрополь» — по-гречески «город мертвых». Поэтому некрополями называются также алфавитные списки умерших и погребенных людей. Другими словами — адресные книги кладбищ. Только вместо улицы и номера дома в некрополе указана могильная плита или надгробный памятник. И тут же вслед за именем погребенного приводится все, что написано на могильной плите или памятнике: годы рождения и смерти, изречения, стихи. В конце XIX — начале XX века были изданы описания и петербургских, и московских, и некоторых провинциальных кладбищ, и даже описания русских могил за границей.

Обрескова, Екатерина Васильевна — см. **Свербѣева**.

Обрѣзкова, Екатерина Яковлевна — см. **Самсонова**.

Обрѣзкова, Марина Никитична, вдова † 3 января 1836, на 63 г.; возлѣ *Ек. Яковл. Самсановой* (Лазаревское кладбище).

Обрескова, Наталья Александровна — см. **Мельгунова**.

Обрескова, Наталья Өедоровна † 20 января 1875, на 62 г. (Ваганьково).

Обрескова, Прасковья Васильевна, рожд. княжна *Хованская*, ст. совѣтница † 3 мая 1851, на 66 г.; съ *В. А. Обресковымъ* (Ваганьково).

Обрескова, Софья Александровна, рожд. княжна *Щербатова* † 18 іюля 1824. Жила 24 г. (Донской монастырь).

Обресковъ, Александръ Васильевичъ, р. 23 іюля 1816 † 17 марта 1817. Жилъ 7 м. 24 д. (Спасо-Андроніевъ монастырь).

Обрѣзковъ, Анатолій, поручикъ 223 Коротоякскаго полка † 31 мая 1904

Страница из второго тома «Московского некрополя», на которой напечатано описание могилы Н. Ф. Обресковой.

Беру «Московский некрополь» — второй том. Буква «О»... батюшки! Целая страница Обресковых!!!

«Обрескова Екатерина...»

«...Марина...»

«...Наталия Александровна...»

«Обрескова Наталья Федоровна! Умерла 20 января 1875 года, на шестьдесят втором году от рождения. Погребена на Ваганьковом кладбище»!

Если в 1875 году ей шел шестьдесят второй год, следовательно, она родилась, как я предполагал, в 1813 году. Значит, она — Н. Ф. И., Наталия Федоровна Иванова. Значит, я все узнал!

И тут я понял, что по существу-то я ничего не узнал.

Ну и что из того, что Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной Ивановой? А что нового вынесет из этого читатель? Что это откроет ему в стихах Лермонтова? Что скажет его уму и сердцу?

И я понял, что надо искать дальше.

Но так как из книг уже невозможно было больше извлечь решительно ничего, а познакомился Лермонтов с Ивановой в Москве, я поехал в Москву.

ЗНАТОК СТАРОЙ МОСКВЫ

Был в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков, — историк и литературовед, великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта, волшебник по части установления служебных и родственных связей великих и не великих русских людей. Уж никто луч-

ше его не мог сказать вам, кто когда родился, кто где жил, кто в каких служил департаментах и полках, кто на ком был женат, кто к кому ходил в гости, где чей дом стоял и где кто умер. На все подобные вопросы, если только в его силах было ответить на них, Николай Петрович давал самые точные и самые подробные разъяснения. И чаще всего прямо на память. А память у него была удивительная.

Он так хорошо знал старую Москву, что, когда строили первую очередь метро, обратились к нему за советом. Один он мог точно указать, где в районе Остоженки — нынешней Метростроевской улицы — были в старину глубокие подвалы и старые, заброшенные колодцы, которые могли встретить на своем пути строители метро.

Старик повел комиссию по Остоженке и по прилегающим к ней переулкам — палочкой указывал границы бывших барских особняков и усадеб, объяснял, в каком углу двора был погреб, в каком — колодец.

А потом его попросили спуститься на трассу метро. И выдали пропуск «Действителен под землей». Николай Петрович смутился и расстроился, и даже, кажется, принял это за неуместную шутку. Но, когда ему объяснили, что у всех пропуска такие, он спустился на трассу и ответил на все вопросы.

Как все люди, беззаветно и бескорыстно любящие свою профессию, Николай Петрович охотно делился знаниями со всяким, кто в том нуждался, и никогда не заботился о том, будет ли в печати упомянуто его имя.

Последние годы Николай Петрович работал в архиве Государственного Литературного музея в Москве. Я не был знаком с ним, но, зная о его необыкновенной щедрости и отзывчивости, понимал, что он охотно поможет советом и мне — незнакомому.

Прихожу в Литературный музей. Прошу вызвать Чулкова ко мне в вестибюль.

И вот выходит крошечный старичок с несколькими коротко подстриженными над губой серыми волосками, такой милый, такой предупредительный, что даже глазками перемаргивает поминутно, словно опасаясь просмотреть какое-нибудь выражение лица своего собеседника, недослышать какое-нибудь слово.

Я представился, вкратце изложил свою историю. Чулков внимательно слушал и помаргивал. Наконец я кончил. И тут настала моя очередь слушать и моргать.

— Вы совершенно правы,— сказал Николай Петрович тихим голоском и откашливаясь в кулачок: — Наталия Федоровна Иванова действительно дочь Федора Федоровича, московского драматурга. Правильно и то, что она вышла замуж за Николая Михайловича Обрескова. А вот теперь запишите: у Обресковых была дочь Наталия Николаевна, которая в шестидесятых годах вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. У Голицыных тоже были дочери, родные внучки Наталии Федоровны: Александра Сергеевна — в замужестве

Спечинская, Наталия Сергеевна — Маклакова и Христина Сергеевна — Арсеньева. Наталию Николаевну, дочку Ивановой, я лично знал, даже бывал у нее. Вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталия Николаевна скончалась совсем недавно: в 1924 году. Кроме нее, я знаком с одной из ее дочерей — с Христиной Сергеевной Арсеньевой. Бывал у нее. Она тут жила недалеко, возле храма Христа Спасителя. Но храм... — тут Николай Петрович несколько затруднился, подыскивая подходящее слово, — храм и домик около храма... подверглись реконструкции... и уже не находятся на месте. Поэтому я просто даже не представляю себе, где может быть Христина Сергеевна в настоящее время. Вот только в связи с вашим рассказом... — Николай Петрович покашливал и потирал то один кулачок, то другой, — в связи с вашим рассказом у меня возникло маленькое недоумение. Ведь довольно близко зная и дочь и внучку Наталии Федоровны, я тем не менее никогда не слышал от них имени Лермонтова. Между тем они должны были хорошо представлять себе, что знакомство его с Наталией Федоровной должно было меня заинтересовать. И вот поэтому я опасаюсь, что Наталия Федоровна Иванова — это не та Н. Ф. И., о которой говорится у Лермонтова. Но, конечно, прежде всего вам надо бы повидаться с Христиной Сергеевной...

— Где же мне достать Христину Сергеевну? — спросил я внезапно осипшим голосом, ошеломленный последним замечанием Чулкова.

— Да адрес-то можно, пожалуй, узнать через адресный стол...— заметил Чулков.

— Ах да, через адресный стол!..

И, поблагодарив Николая Петровича, я опрометью бросился из музея.

«Новое несчастье,— думаю: — не та Н. Ф. И.!»

Прибежал в адресный стол. Подаю в стол заказов длинный, узенький бланк с именем Христины Сергеевны. Жду ответа.

Наконец слышу:

— Арсеньеву кто спрашивает?

Подбегаю к окошечку:

— Я!

— Арсеньева, какая нужна вам, в городе Москве не проживает.

— Как так «не проживает»?

— Гражданин! Наверно, выбыла. Сведений о ней не имеется.

Поплелся восвояси. «Эх,— думаю,— пора бросать эту затею! Так можно искать до конца жизни. Куда теперь девалась эта Христина Сергеевна? А если она уехала? А если на Урал, на Кавказ, на Камчатку? Что же, ехать за ней?»

А сам чувствую, что поеду.

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ

Христина Сергеевна — урожденная Голицына. Арсеньева — это по мужу. Следовательно, знать о ней может кто-нибудь из Голицыных.

Вспоминаю, кто-то говорил, что в редакции журнала «Ревю де Моску» переводчиком с русского языка на французский работает Николай Владимирович Голицын.

Еду к нему. Вбегаю в редакцию, первому встречному начинаю объяснять: «Лермонтов, Н. Ф. И., она Иванова, она за Обресковым...» Вижу — на другом конце комнаты от стола поднимается высокий пожилой человек с окладистой бородой.

— Это, очевидно, ко мне! — удивленно поясняет он своим сослуживцам.

Я снова начинаю рассказывать о своих злоключениях.

— Рад вам помочь и буду с вами совершенно прямодушен,— говорит Голицын, задумчиво комкая и снова разглаживая бороду.— Александра, Наталия и Христина Сергеевны — это мои сестры. Не могу только сказать вам точно — четвероюродные или пятиюродные. Когда-то часто встречал их. Только это было очень давно. И единственное, что запомнилось, — это то, что в молодости они очень хорошо танцевали. Что касается Александры и Наталии Сергеевны — не знаю, давно не слышу о них. Что же касается Христины Сергеевны, то в отношении нее у меня более положительные сведения. Дело в том, что Христина Сергеевна умерла. Жила она где-то тут, под Москвой... Вы, мне кажется, правы: возможно, что у нее и хранилась какая-нибудь связка старинных писем или какой-нибудь сувенир ее бабушки. Проще всего было бы узнать ее адрес у ее мужа, Николая Васильевича Арсеньева. Но он, к сожалению, умер. Ивану Васильевичу, брату его, тоже безусловно был ведом адрес. Но Иван Васильевич тоже умер. Вот, пожалуй, кто может знать — это сын Ивана Васильевича Арсеньева, Сергей Иванович. Он, насколько я понимаю, жив и находится здесь в Москве. Поэтому вам прежде всего следует повидать его, поскольку он сын покойного брата покойного мужа покойной Христины Сергеевны. Я, правда, не в курсе того, где он живет. Но, вероятно, можно навести справку в бюро адресов...

Я снова кинулся в адресный стол. Достаю адрес Сергея Ивановича, еду к нему в Обыденский переулок и в полумраке небольшой передней вступаю в переговоры со старушкой — тещей Арсеньева, которая стремится побольше узнать от меня и поменьше сообщить мне. Выспросив решительно все, старушка начала подавать мне советы, и весьма дельные. Прежде всего она объяснила, что, несмотря на солидный возраст, Сергей Иванович получил разрешение вторично поступить в вуз, потому что в молодости выбрал себе профессию не по сердцу. Он человек занятой, дома бывает редко, и мне застать его будет трудно.

— За Сергеем Ивановичем вам не стоит гоняться, да и не к

чему, — говорит мне старушка. — Он ничего ровно вам не скажет. И адрес Христины Сергеевны вам тоже ни к чему. А лучше всего сходить бы вам к сестре ее, к Наталье Сергеевне.

Я всполошился:

— К какой Наталье Сергеевне?

— Как «к какой»? К Маклаковой.

— Да разве Маклакова жива?

— Да как же не жива, когда я на прошлой неделе с ней вместе в кассе чек выбивала!

— Чек в кассе?

— Ну да, в «Гастрономе». Поздоровались с ней да и разошлись.

— А где она живет, Маклакова?

— Тут где-то, на Зубовском.

— А дом номер?..

— Номера дома не знаю. Чаю у нее не пила. Сходите в адресный стол.

ДОМ НА ЗУБОВСКОМ

Снова прибежал в адресный стол, нацарапал на бланке: «Наталия Сергеевна Маклакова», и наконец в моих руках адрес: «Зубовский бульвар, 12, кв. 1».

Не буду занимать вас описанием, что я перечувствовал по пути к этой — живой! — внучке. Это понятно каждому.

...Маленький деревянный домик внутри двора, несколько ступенек и дверь. Я постучал.

Открывает дверь женщина: немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице.

— Вам кого?

— Простите,— говорю,— можно видеть Наталию Сергеевну Маклакову?

— Да, это я. А что вам угодно?

— Здрассьте, Наталия Сергеевна,— говорю я в сильном волнении.— Я узнал ваш адрес через адресный стол... Я занимаюсь Лермонтовым. И вот в связи с этим мне надо бы с вами поговорить...

— Голубчик! — с сожалением перебивает она.— Вы напрасно искали меня. Я ничем не смогу быть вам полезной. Ведь все стихи, которые Лермонтов посвящал моей бабушке, Наталии Федоровне, все его письма, которые со стихами вместе хранились в ее шкатулке, давно уже сожжены. Их уничтожил еще мой дед, Николай Михайлович Обресков, из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось.

— Наталия Сергеевна! — вскричал я.— Вы, наверно, даже не представляете себе, что вы сказали!

— А что я сказала? — встревоженно спросила Маклакова.— Я ничего не сказала и ничего не скажу интересного. Мне, мой милый, известны только те стихи, которые напечатаны во всех изданиях Лермонтова и которые вы знаете, конечно, не хуже меня.

Я недостоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила...—

прочла Маклакова слегка дрожащим голосом.— Со слов мамы,— продолжала она,— я знаю, что эти стихи написаны для бабушки, Наталии Федоровны. Вот и все, что я знаю.

— Наталия Сергеевна,— спросил я, удивляясь все более,— почему вы никогда никому не рассказали о знакомстве вашей бабушки с Лермонтовым, о его любви к ней? Почему имя ее никогда не появлялось в печати? Для чего вы хранили его в тайне?

— А для чего нам было сообщать в печать имя бабушки? — спросила Наталия Сергеевна.— Чем нам гордиться? Тем, что бабушка... предпочла дедушку?

Тут я уже просочился через порог. Маклакова пригласила меня в комнату, посадила на потертый диван, и я стал задавать ей вопросы, какие только способно было породить мое воспаленное от радости воображение.

Она знала действительно очень мало. Но и это «мало» было для меня очень «много». Я услыхал от нее, что в «Странном человеке» Лермонтов рассказал о своих отношениях с Ивановой. Что у Ивановой хранился экземпляр этой пьесы, аккуратно переписанный самим Лермонтовым и с посвящением в стихах. Что у Наталии Федоровны была сестра, Дарья Федоровна, которая вышла замуж за офицера Островского. Что Дарья Федоровна прожила всю жизнь в Курске, а дочери ее жили в Курске до самой революции. На мои вопросы о дедушке своем, Николае Михайловиче Обрескове, Маклакова ничего не могла ответить, никак не могла объяснить, за что он разжалован.

— Я что-то ничего не слыхала об этом,— говорила она.— Знаю только, что в старости дедушка был предводителем дворянства в каком-то уезде Новгородской губернии. Там у него было именье.

— А я уж подумывал, не декабрист ли он,— сознался я Наталии Сергеевне.

— Милый мой,— ахнула Маклакова,— как хорошо было бы, если б он оказался декабристом!

Наконец я ушел от нее. Но дорогой вспомнил, что забыл задать ей еще какие-то вопросы, повернул назад. И с тех пор стал ходить к Маклаковой, как на службу.

СУНДУК С БЕЛОРУССКОЙ ДОРОГИ

Маклакова предложила мне, что обойдет всех своих московских родственников и сама расспросит их, не помнят ли они чего о Наталии Федоровне и о Дарье Федоровне, об их отце, матери, тетках, дядьях и знакомых. Чтоб я только написал ей вопросы, какие она должна задавать. Все это было, по ее словам, гораздо проще узнать ей, чем мне.

Я обрадовался и притащил ей на дом целую картотеку вопросов.

Захожу к ней вскоре. И, сообщив мне целый ворох имен дальних родственников Наталии Федоровны по линии нисходящей и восходящей, Маклакова говорит мне:

— У меня к вам просьба. Помогите мне достать машину.

Я удивился:

— Какую машину?

— Автомобиль,— говорит Маклакова.— И такой, чтоб на него можно было поставить сундук покойной сестры Христины. Я ведь вам говорила, что последние годы Христина Сергеевна жила по Белорусской дороге, недалеко от Перхушкова. Вещи, которые после нее остались, мы отдали там на хранение соседям. И, знаете, уже столько прошло с тех пор времени, что я опасаюсь, цел ли сундук. Мне хотелось бы его сюда привезти, да он такой громоздкий, что не принимают даже в багаж. А последнее время я все стараюсь припомнить, нет ли там чего-нибудь для вас интересного...

Тут я живо достал машину. Маклакова послала кого-то за сундуком. Я же заблаговременно явился к ней на Зубовский и принялся расхаживать мимо ворот: войти в дом — слишком рано, стесняюсь, а в то же время боюсь опоздать к прибытию сундука.

Под вечер машина пришла. Отвалили заднюю стенку. Стащили огромный, с коваными наугольниками сундук и поволокли его в дом. Я хотел, чтоб наибольшая тяжесть легла непременно на меня — ревновал к сундуку, говорил: «Не надо! Я сам!..» Наконец водворили его в комнате. Маклакова принялась за разборку. И тут пошли из него такие вещи, каких я вовсе никогда и не видывал. Прежде всего пошли какие-то флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Перламутровые альбомчики, старые веера и лайковые перчатки, перья и булавки для шляп, старые пуговицы, каких теперь вовсе не увидишь, металлический чайник, утюг, кривая керосинка, кофейная мельница, колун... Маклакова над каждой вещичкой умиляется. А для меня — ничего!..

И вот, когда уже почти пуст сундук, Маклакова вынимает со дна старинную, светло-коричневой кожи рамку и, улыбаясь, что-то рассматривает.

— Вот видите, и для вас под конец нашлось...

А мне виден только оборот — и, гляжу, на обороте рамки старинным почерком надпись: «Наталья Феодоровна Обрескова, рожденная Иванова».



Наталия Федоровна Иванова. С портрета, рисованного художником В. Ф. Биннеманом. Портрет сохранился среди вещей Х. С. Арсеньевой.

Взял я эту рамку в руки, повернул ее и увидел наконец лицо той, которую Лермонтов так любил и из-за которой я... так страдал.

Нежный, чистый овал. Удлиненные томные глаза. Пухлые губы, в уголках которых словно спрятана любезная улыбка. Высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи... А выражение лица такое, как сказано в одном из лермонтовских стихотворений, ей посвященных:

С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна...

А Маклакова протягивает другую такую же рамку:

— И дедушка нашелся! Помнилось мне, что портреты эти были парные: оба нарисованные карандашом и оба в одинаковых рамках...

Смотрю на Обрескова. Молодое лицо его довольно красиво, окружено кудрявыми бачками. Но выражение надменное и словно брезгливое: неприятное выражение.

Он в штатском: высокий воротник фрака, как носили в пушкинские времена; бархатный бант, цепочка с лорнетом и в петлице фрака — орден: крест на полосатой ленте. Очевидно, георгиевский.

«Ну чего,— думаю,— проще: зайду в Ленинскую библиотеку, посмотрю список георгиевских кавалеров за все годы существования этого ордена и узнаю, когда и за что Обресков был награжден».

Еду в Ленинскую библиотеку... Удивительно! Николай Обресков георгиевским крестом не награждался. Георгиевский крест был у его отца.

Ничего не могу понять! Неужто Обресков сел в кресло позировать художнику, вдев при этом в петлицу отцовский орден? Это уж, казалось бы, последнее дело!

И решил я тогда выяснить во что бы то ни стало, так это или не так и что за человек вообще был Обресков.

СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА

Я искал имя Обрескова в московских архивах. Не обнаружил. Особенно долго копался в Военно-историческом архиве. Не обнаружил. Поехал в Ленинград. И там, в Военно-историческом архиве, наконец отыскалось:

ДЕЛО
генерал-аудиториата
1-ой армии
военно-судное
над поручиком
Арзамасского конно-егерского полка
ОБРЕСКОВЫМ

И когда я перелистал это «дело», то узнал наконец, в чем там было самое дело. По формулярам, аттестациям, донесениям и опросным листам я установил историю этого человека.

Обресков родился в 1802 году в семье генерала и по окончании Пажеского корпуса был выпущен в один из гвардейских полков, из которого вскоре его перевели в конно-егерский Арзамасский. В 1825 году полк этот квартировал в городке Нижнедевицке, невдалеке от Воронежа, и офицеры полка часто бывали званы на балы к воронежскому гражданскому губернатору Н. И. Кривцову, женатому на красавице Е. Ф. Вадковской. Обресков находился с нею в близком родстве, и в губернаторской гостиной его встречали как своего.

После одного из балов губернатор случайно обнаружил, что из спальни его супруги похищены жемчуга, золотая табакерка и изумрудный, осыпанный брильянтами фермуар. Кривцов заподозрил гостей. На знамя Арзамасского полка легла позорная тень. Вскоре драгоценности были нечаянно замечены у одного из офицеров. Полковой командир вызвал его к допросу; отдав командиру все пропавшие вещи, он сознался в краже.

Это был поручик Обресков.

Военный суд лишил Обрескова чинов и дворянского звания и выписал его солдатом в Переяславский полк. Оттуда он попал на Кавказ, в Нижегородский драгунский, который в 1829 году участвовал в Турецкой войне. Рядовой Нижегородского полка Обресков отличился и был награжден «солдатским Георгием», как называли тогда в войсках «знак военного ордена». Этот крестик носили на такой же точно черно-оранжевой георгиевской ленточке, только права на включение в списки георгиевских кавалеров он не давал. С этим крестом Обресков и изображен на портрете.

Семь лет прослужил Обресков в солдатах. Только в 1833 году он был наконец «высочайше прощен» и уволен с чином коллежского регистратора. В таком чине в царской России служили самые маленькие чиновники — например, пушкинский станционный смотритель,— и с этим чином Обресков должен был начинать новую жизнь. В 1836 году он поступил на службу в канцелярию курского губернатора.

Дальнейшая жизнь его не представляет для нас никакого решительно интереса. Первое время он занят был хлопотами о возвращении ему дворянства, а в 60-х годах действительно служил предводителем дворянства в Демянском уезде, Новгородской губернии.

Для нас важно другое. В тот год, когда он поселился в Курске и поступил на службу к тамошнему губернатору, он уже был женат на Наталии Федоровне Ивановой.

Что побудило ее выйти замуж за этого опозоренного человека, для которого навсегда были закрыты все пути служебного и общественного преуспеяния? Этого, конечно, мы уже никогда не узнаем. Правда, он считался состоятельным человеком. В двух губерниях у него насчитывалось семьсот пятьдесят крепостных душ.

АЛЬБОМ В БАРХАТНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Опять нехорошо! Я много узнал про Обрескова и мало про Лермонтова. Кроме того, у меня скопилось множество фамилий близких и дальних родственников Наталии Федоровны Ивановой, с которыми надо что-то делать.

Прежде всего я узнал, что у нее был отчим. Мать Наталии Федоровны после смерти Федора Федоровича вышла замуж за Михаила Николаевича Чарторижского. Наталия Федоровна воспитывалась в его семье.

Следовательно, Лермонтов бывал в его доме. Надо выяснить, кто он такой.

Спрашиваю Маклакову. Не знает.

Спрашиваю Чулкова. И он не знает.

Тогда я начинаю снова выспрашивать Маклакову, что это за Чарторижский и как мне что-нибудь вызнать о нем. Маклакова уверяет меня, что не помнит. Но я очень прошу и даже настаиваю. И тут она вспомнила.

Она вспомнила, что бабушка некой Нины Михайловны Анненковой — урожденная Чарторижская.

— А кто такая Нина Михайловна Анненкова?

— Это старушка одна,— говорит Маклакова.— Живет она в семье Анатолия Михайловича Фокина, очень славного и обязательного человека. Я вам дам к нему записку, он вас с ней познакомит. А дом их напротив нашего: Зубовский бульвар, пятнадцать.

Я перешел через улицу и во дворе восьмиэтажного дома обнаружил старинный особнячок, в котором и жили Фокины. И вот навстречу мне танцующей походкой выходит очень высокий человек лет пятидесяти. Лицо чисто выбрито, и вокруг губ все время гуляет небольшая усмешка.

Встряхнув мою руку, он рекомендуется: «Фокин».

Я вручил ему записку Маклаковой, которую он пробежал, извинившись. Сунув ее в карман, он снисходительно склонил голову:

— Чем могу служить?

И театральным, широким жестом пригласил в комнату.

Я объяснил цель своего прихода.

Фокин тяжело вздохнул и горестно надломил бровь. Лицо его выразило крайнюю степень сожаления. Нина Михайловна — человек престарелый и нездоровый, с весьма расстроенной памятью. Еще несколько лет назад она действительно сама как-то упомянула в разговоре с ним, Анатолием Михайловичем, что девичья фамилия ее бабки Чарторижская и что бабка эта погребена на кладбище Донского монастыря, где мраморный ангел распростер крылья над ее надгробьем. Большего она, конечно, припомнить не в силах и только взволнуется. Стоит ли тревожить старушку? Ему очень неприятно, что я напрасно потратил время. У него самого касающегося Лермонтова, к сожале-

нию, ничего нет. Старинные реликвии, принадлежавшие когда-то бабушкам и дедушкам, уже разошлись: кое-что пропало, другое продано. Впрочем, у его жены, Марии Марковны, сохранился еще доставшийся ей по наследству альбом Марии Дмитриевны Жедринской, супруги того Жедринского, который в конце 60-х годов был курским губернатором. В этом альбоме имеется стихотворение поэта Апухтина, собственноручно им вписанное.

— Может быть, вам любопытно взглянуть? — гостеприимно спрашивает Фокин.— Автограф Апухтина еще не опубликован.

Апухтин?.. К чему мне Апухтин? К работе моей никакого отношения он не имеет. Но Фокин уже достает из письменного стола большой альбом в темно-синем бархатном переплете. Действительно, на первой странице — стихотворение Апухтина, посвященное хозяйке альбома.

Я не запомнил его точно; помню только Апухтин пишет, что нашел «оазис» под кровом губернаторского дома и отдыхал там душой, что он снова уходит в далекий путь, но надеется сложить когда-нибудь свой страннический посох «у милых ног» курской губернаторши. Под стихотворением — число: «2 августа 1873 года». Стало быть, первая страница этого альбома написана через тридцать с лишком лет после смерти Лермонтова. Что интересного может заключаться для меня в этом альбоме?

— Ничего нового, кроме Апухтина, в этом альбоме нет, — предупреждает Фокин.— Пожалуй, не стоит и перелистывать. Все остальное — давно известные стихи, которые сама Мария Дмитриевна просто переписывала из книг.

В самом деле, стихи все известные: «Выдь на Волгу...» Некрасова, «Сенокос» Майкова, Лермонтов — «На севере диком стоит одиноко...» Потом — стихи Фета, какого-то Свербеева, опять Некрасов, Тютчев, Пушкин...

Я уже собираюсь отдать альбом, перевернул еще несколько страниц... И вдруг! Вижу — рукою Жедринской переписано:

В альбом Н. Ф. Ивановой

Что может краткое свидаиье
Мне в утешенье принести?
Час иеизбежный расставанья
Настал, и я сказал: прости.
И стнх безумный, стнх прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.

М. Ю. Лермонтов

И даже год указан: «1832».

Я прямо задохнулся от волнения. Неизвестные стихи! К Ивановой! И фамилия ее написана полностью! Да так только в сказке бывает! Прямо не верится. И откуда взялось это стихотворение, да еще в альбоме 70-х годов? Перевел глаза на соседние строки... А!

В альбом Д. Ф. Ивановой

Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет!

М. Ю. Лермонтов

И снова год: «1832».

Перевернул страницу: «Стансы» Лермонтова. И тоже неизвестные!

Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что прежде было —
Я не жалею о былом:
Оно меня не усладило.
Как настоящее, оно
Страстями бурными облито,
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый.

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула,
И, бывши всё мне на земле,
Как все земное, обманула.

М. Ю. Лермонтов

И дата: «1831».

— Этот альбом,— говорит Фокин, иронически наблюдая за тем, как я его изучаю,— собственно, уже не принадлежит Марии Марковне. Она уступила его Государственному Литературному музею, и с завтрашнего дня он поступает в их собственность. Поэтому я просил бы вас: пусть то, что мы его с вами рассматриваем, останется между нами...

— Можете быть уверены,— бормочу я, а сам думаю: «Сказать ему или не говорить, что в альбоме — неопубликованный Лермонтов? А вдруг он решит не продавать альбом, оставит его у себя, а потом что-нибудь случится — и стихотворения, уже раз уцелевшие чудом, погибнут, как погибли десятки других лермонтовских стихов!.. Нет, думаю, не стоит подвергать альбом риску. Продал — и продал».

Въ альбомъ Д. Ф. Ивановой.

Когда судьба тебя захочетъ обмануть
И міръ печалить сердце станетъ —
Ты незабудь на этотъ листъ взглянуть,
И думай: тотъ, чья нынѣ страждетъ грудь,
Не опечалитъ, необманетъ.

1832 г.

М. Ю. Лермантовъ.

Въ альбомъ Н. Ф. Ивановой.

Что можетъ краткое свиданье
Мнѣ въ утѣшенье принести,
Часъ неизбѣжный разставанья
Насталъ, и я сказалъ: прости

И стихъ безумный, стихъ прощальный
Въ альбомъ твой бросилъ для тебя,
Какъ слѣдъ единственный, печальный,
Который здѣсь оставлю я.

1832 г.

М. Ю. Лермонтовъ.

Страница из альбома М. Д. Жедринской. Копии стихотворений Лермонтова «В альбом Д. Ф. Ивановой» и «В альбом Н. Ф. Ивановой».

И я возвратил ему альбом со словами:
— Да, очень интересный автограф Апухтина.
А на следующий день побежал в Литературный музей и, словно невзначай, спрашиваю:
— Вы, кажется, покупали альбом у Фокина?
— Купили.
— Посмотреть можно?
— Нет, что вы! Он еще не описан. Опишут — тогда посмотрите.
Опишут?! Это значит: обнаружат без меня лермонтовские стихотворения — и пошла тогда вся моя работа насмарку.
Зашел снова через несколько дней:
— Ну что? Альбом Жедринской не описали еще?
— Нет, уже описали.
Стараюсь перевести незаметно дыхание:
— А что там нашли интересного?
— Особого ничего нет. Только автограф Апухтина.
Я прямо чуть не захохотал от радости. Не заметили!!!
И тут же настрочил заявление директору с просьбой разрешить ознакомиться с неопубликованным стихотворением Апухтина. Но скопировал я, конечно, не Апухтина, а стихотворения Лермонтова. И только после этого попросил разрешения опубликовать их.

ПРОЩАНЬЕ с Н. Ф. И.

Остается объяснить, как неизвестные стихотворения Лермонтова попали в альбом курской губернаторши.

Это довольно просто. С 1836 года Наталия Федоровна поселилась с Обресковым в Курске. Дарья Федоровна прожила в этом городе до самой смерти. А после нее там продолжали жить ее дочери. Понятно, что стихи Лермонтова, посвященные сестрам Ивановым, курские любительницы поэзии переписывали из их альбомов в свои. И таким же путем в 70-х годах стихи эти попали наконец в альбом Жедринской.

Может быть, кто усомнится: лермонтовские ли это стихи?

Лермонтовские! Окончательным доказательством служит нам то, что несколько строчек из «Стансов», обнаруженных в фокинском альбоме, в точности совпадают с другими «Стансами», которые Лермонтов собственноручно вписал в одну из своих тетрадей, хранящихся ныне в Пушкинском доме.

Теперь уже становится более понятной вся история отношений Лермонтова с Н. Ф. И. Теперь уже ясно, что и под зашифрованным обращением «К*» в замечательном стихотворении 1832 года скрыто имя все той же Ивановой.



Середниково. Парк, где Лермонтов встречался с Ивановой.

В последний раз обращается Лермонтов к Н. Ф. И., чтобы навсегда с ней расстаться. С какой горечью говорит он ей о двух протекших годах! И с какой гордостью — о своем вдохновенном труде, с какой верой в великое свое предназначение!

Вот они, эти стихи на разлуку:

Я не уннжусь пред тобою;
Ни твой привет, нн твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужне с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке н глазам,
И так я слнщком долго вндел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавндел,
Чтобы тебя любнть сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твонх,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменнла нх?
Быть может, мыслню небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы мнру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец?
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец?
Я горд! — прости — люби другого,
Мечтай любовь найтн в другом:
Чего б то нн было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страстн стану клясться всем;
Со всемн буду я смеяться,
А плакать не хочу нн с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любнть, как я любил —
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменнл?

Страница из лермонтовской тетради. Черновой автограф стихотворения «Я не унижусь пред тобою...»

Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал; —
Такой души ты знала ль цену? —
Ты знала: — я тебя не знал! —

Вот и конец истории этой любви. А вместе с ней — долгой истории поисков.





ПОДПИСЬ ПОД РИСУНКОМ

Недавно пришлось побывать мне в Железноводске.

Пить воды — дело, конечно, хорошее. Но куда интереснее оказались отлучки из санатория! Вместе с писателем С. П. Бабаевским, с которым в годы Отечественной войны мы служили в армейской газете,— ныне он жительствует в городе Пятигорске,— поехали мы в Ставрополь, побывали в районах; показал он мне прославленные колхозные электростанции, впервые увидел я электрострижку овец знаменитой ставропольской породы, из шерсти которых сделан каждый четвертый костюм в нашей стране. Потом махнули в Черкесию... А ехать пришлось по той самой дороге, по которой когда-то всё ездил и ездил Лермонтов — с Кавказа и на Кавказ, из ссылки и в ссылку. И решил я тогда

объехать все лермонтовские места на Кавказе. Ведь он путешествовал в тележке, двигался с военным отрядом, ездил верхом... Долго ли, думаю, на машине! Мне же по роду занятий моих — который год изучаю Лермонтова! — необходимо было в конце концов побывать во всех этих городках и станицах, повидать все, что довелось видеть ему.

Скажу сразу: спидометр показал около 15 тысяч километров. Я проехал тогда по многим местам, где бывал Лермонтов, но во всех побывать не успел.

Из Пятигорска я отправился в Георгиевск, оттуда в Прохладный, Моздок, выехал на Терек. Через терские станицы — Червленую, Шелковскую, Старогладовскую, связанные с именами Грибоедова, Лермонтова и Льва Толстого,— попал в Кизляр. Тут развернулся, взял направление на Грозный. Побывал на речке Валерик, где происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении. Объехал территорию Северной Осетии, Кабарды. Через Орджоникидзе по Военно-Грузинской дороге попал в Тбилиси. Оттуда, перевалив Гомборы, поехал в Цинандали, затем в Царские колодцы — ныне это Цителцкаройский район Грузии, — добрался до селения Караагач, где квартировал Нижегородский драгунский полк, в котором Лермонтов в 1837 году отбывал ссылку. Потом переправился на пароме через Алазань и, оказавшись на территории Азербайджана, в Закаталах, покатил к югу — по направлению к Нухе и Шемахе, потому, что в Кахетию Лермонтов мог попасть из Шемахи только по этой дороге.

Шемаханской царицы из пушкинской сказки я не видел, но побывал в местах сказочных...

Ехал я не просто так, не для одного удовольствия. На коленях у меня лежали фотографии с картин и рисунков Лермонтова. Известно, что Лермонтов хорошо рисовал, обладал большими способностями к живописи. Сохранились виды Кавказа, сделанные им с натуры,— хранятся они в московских и ленинградских литературных музеях, но снабжены необычайно унылыми этикетками: «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с верблюдами»... Однако и без подписи ясно: если нарисована скала, и арба на дороге, и горная река — то это «вид с арбой». А верблюды возле скалы и горы на горизонте представляют собой «вид с верблюдами». Но что именно изображено на этих рисунках и полотнах Лермонтова, где, в каких местах исполнены им эти работы,— ничего не известно. Поэтому я до боли в шее вперялся в ветровое стекло машины, беспрестанно вертел головой, озираясь по сторонам и сравнивая рисунки поэта с открывавшимися передо мною видами. Вдруг увижу изображенное Лермонтовым!

Мне везло. «Кавказский вид с арбой» обнаружился в Дарьяльском ущелье. «Кавказский вид с верблюдами» Лермонтов, как выяснилось, писал маслом с натуры в окрестностях селения Караагач. На других репродукциях оказались селение Сиони близ Казбека, замок Тамары в Дарьяльском ущелье, окрестности Мцхета, Тифлис... Постепенно



Развалины на берегу Арагвы. Рисунок Лермонтова. Об этом рисунке рассказ.

опознанных рисунков становилось все больше, неопознанных — меньше. И наконец остался один. Как назло, именно под этим рисунком имеется подпись: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» — обозначение достаточно точное.

Но сколько ни ездил я вдоль Арагвы — от того места, где она впервые соприкасается с Военно-Грузинской дорогой, до слияния ее с Курою во Мцхете, — ничего похожего на лермонтовский рисунок не обнаружил. Лермонтов нарисовал глухое ущелье, поросшую лесом скалу. На вершине скалы — крепость с зубчатой стеной, по углам — башни с бойницами, за стеной — острый купол грузинской церкви. В середине рисунка река с двух сторон бурно омывает утес. Башня и сакля на другом берегу. Ущелье замыкает горный хребет. Готов поручиться: на Военно-Грузинской дороге похожего места нет!

Уже собрался писать, что этот вид Лермонтов набросал на память или, может быть, даже не имел в виду никакого определенного места... Но если сам не убежден в том, что пишешь, как можно уверять в



Развалины близ селения Караагач в Кахетии. Картина Лермонтова.

этом других? Пришлось предпринять новую поездку по Военно-Грузинской дороге.

Из Тбилиси я выехал на рассвете. Неужели и на сей раз не удастся найти эти несчастные развалины? Куда они могли деться? Что за таинственное ущелье?

Остановился в Пасанаури. Прижатые прозрачным потоком Арагвы к подножию лесистых гор, толпятся возле дороги опрятные домики; это как раз полдороги от Тбилиси к Орджоникидзе.

День был воскресный. Я пошел на колхозный базар, где продаются куры, мацони, грецкие орехи, чеснок, стопки душистого грузинского хлеба, и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского рисунка. Очень скоро я достиг значительных результатов: превратил базар в настоящий базар. Все перестали покупать, все переста-

ли торговать. Фотография пошла ходить из рук в руки. Послышались советы: надо ехать в Ананури, обратно, километров за двадцать. Там и церковь, и крепость, и тоже Арагва течет...

Я только что миновал Ананури и сам догадался, конечно, еще раз осмотреть Ананурский собор.

Я сказал им об этом. Мне возразили: не так хорошо посмотрел, как надо, у молодых глаза зоркие, если посмотрят — покажут.

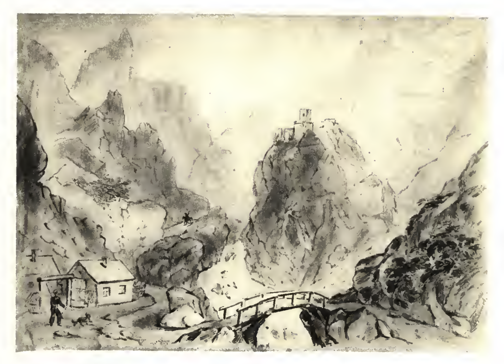
Я пригласил в машину трех юношей — порывистых и молчаливых; поехали мы в Ананури, со всех сторон обошли знаменитую крепость. Воздвигнутая на пологой горе, она господствует над окружающей местностью. Река течет здесь спокойнее; зеленые склоны гор, прикрытые одеялами посевов и пашен, расступаются, образуя долину. Ни утесов, ни скал... Словом, проводники мои убедились, что на рисунке и точно не Ананури.

В Пасанаури я с ними расстался.

Отсюда с каждым поворотом дороги окрестность резко меняется. Все сильнее шумит река. Прохладнее и словно легче становится воздух. Пасмурно. Лесистые склоны кончились. За ближними зеленеющими



Дарьяльское ущелье возле станции Балта. Рисунок Лермонтова.



Дарьяльское ущелье и «Замок Тамары». Рисуиок Лермоитова.

горами поднимаются строгие сине-лиловые горы; в углублениях и складках их гранитных вершин отливают атласом снега. Нельзя оторваться! Много удивительных мест на Кавказе, но Военно-Грузинскую дорогу словно смонтировал великий художник. Она, как кинолента, в которой нет повторений, нет лишнего: вся она — чередование контрастов.

У подножия Гуд-горы в Кайшаурской долине расположено селение Квешеты. Прежде это было знаменитое место. Здесь находилась резиденция начальника горских народов и почтовая станция. Здесь ночевали те, кто совершил переезд через Крестовую гору, и те, кто, едучи с юга на север, готовился его совершить. Тут ночевал Грибоедов. Тут родились великие строки Пушкина:

> На холмах Грузии лежит ночная мгла.
> Шумит Арагва предо мною...

В этом месте стоял духан, упомянутый Лермонтовым на первой странице «Бэлы».

С тех пор много воды унесла шумящая Арагва. На месте духана выстроен сельский продмаг. По случаю воскресного дня возле него было весьма оживленно. Только лошади, оседланные и с перекидными ковровыми мешками — хурджинами,— лениво дремали у изгороди.

Я вылез из машины и стал предъявлять толпившимся возле продмага фотографию лермонтовского рисунка. Послышались голоса, что надо поехать в Ананури, что в этих местах нет похожей церкви и крепости.

Но тут молодая колхозница, по имени Русудан, выдвинулась вперед и сказала:

— Покажите поближе то, что издали видела...

Я передал ей фотографию.

Взглянув, она посоветовала:

— Возьмите хорошую лошадь и отправляйтесь к верховьям Арагви. Там в осетинском ущелье Гуда найдете, что ищете.

Другие ей возразили:

— Зачем ему садиться на лошадь! Тучный человек — не привык ездить. И куда ты хочешь послать его — там нет ни церкви, ни крепости, давно все упало, одни камни лежат. Что там увидит?



Селение Сиони близ Казбека. Автолитография Лермонтова.

— Хорошо помню, еще в школе учила,— ответила молодая женщина, — что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас. Но это было уже сто лет назад с лишним. Может быть, когда Лермонтов ездил к истоку реки — церковь и крепость стояли, а за это время упали,и потому одни камни лежат?

В ответ, смеясь, зашумели:

— Камнями угостить его хочет. Человек не за этим приехал. А если камнями интересуется, зачем ему так далеко ехать. Старая башня и там вон упала — в ущелье, и там — на горе. Туда пусть пойдет...

— Меня лучше послушайте,— сказала колхозница, обращаясь ко мне.— Я вам хорошо посоветовала.

Я не мог сразу воспользоваться этим советом. Было уже часа два, а лошадь и проводника достать не так просто. Поездку к верховьям Арагвы пришлось отложить, а тем временем я решил пройти по старой Военно-Грузинской дороге, которая прежде шла от Квешеты на Кайшаури и дальше к Крестовой — совсем не так, как сейчас. В 60-х годах прошлого века дорогу по берегу Арагвы продлили до селения Млета, взорвали там могучие скалы и, минуя станцию Кайшаури, проложили удобный зигзагообразный подъем, который сравнивают чаще всего с серпантином. А прежнюю трассу Квешеты — Кайшаури — Крестовая, которая шла на Гуд-гору без всяких зигзагов, поднимая путешественника на протяжении трех верст на высоту целой версты, с тех пор забросили. А между тем по ней-то и ездили прежде. Именно эта часть дороги описана в «Герое нашего времени».

Машине не взять такой крутой уклон, и мы решили с шофером: он поедет обычным путем и будет ждать меня под Крестовой, а я, сократив расстояние вдвое по старой дороге, приду туда к вечеру.

Когда машина ушла и, выражаясь лермонтовским слогом, пыль змеею завилась по гладкой дороге,— я стал искать попутчиков на Кайшаури. Откликнулись дети: они идут, они укажут дорогу...

За углом продмага внизу, в глубоком ложе, кипела и стремительно улетала Арагва. Вместо моста через нее перекинуто бревно необычайной длины. Сбоку — ни перил, ни веревки...

Постукивая по бревну тростью, стараясь не смотреть вниз, опасаясь зажмуриться, потеряв интерес к окрестностям, одеревенелый, ступал я, и шумела Арагва подо мной. В середине произошла остановка.

— Не туда помещаете ногу,— беспокоились дети, перебежавшие уже на тот берег.— Посмотрите, куда собрались пойти!

Тогда я лег на бревно и, зажмурившись, пополз, как под пулеметным огнем.

— Может быть, забыли что-нибудь купить в магазине? — фыркая, спрашивали дети, когда я, добравшись до берега, чистил костюм.— Хорошо будет, если еще раз пройдете.

Но мы уже были на другом берегу!..

За рекою — селение. Сразу за ним — подъем, подобно карнизу оги-



Башня на Военно-Грузинской дороге близ Казбека. Картина Лермонтова.

бающий гору, иссеченный промоинами, прижатый к пропасти осыпями мелких камней. Он идет, разворачиваясь, над излучиной Арагвы, и Арагва уходит все ниже... Мы вышли на обрывистое плато. Изумрудно-зеленое, оно поросло кудрявым кустарником. И горы, кажется, придвинуты так близко к этой площадке, что еще бы немного — и их можно коснуться рукой. На самом же деле горы с обеих сторон отделены от этого зеленого плоскогорья долинами. К склонам величаво-пустынных гор прилепились селения, и в каждом — древняя четырехугольная башня. Сурово. А туда — в сторону Тбилиси!.. Прячась порою в кулисах лесистых склонов, сверкает Арагва и пропадает в напоенной солнцем дымной дали. Понятно, почему в «Герое нашего времени» Лермонтов описал именно эти места!

Мы шли, беседуя о том, кем они — дети— собираются стать, когда



Военно-Грузинская дорога близ Мцхета. Картина Лермонтова.

вырастут, какие у них отметки, кому из них девять, десять, одиннадцать... И вот уже входим в селение.

— Пожелаем,— сказали дети,— чтобы вам хорошо было. А мы уже дома.

— Дети,— сказал я с некоторым удивлением,— а как же я буду без вас?!

— Дорогу укажем, так и пойдете.

— Дети,— спросил я снова,— а как же собаки?

— Вы же ничего не хотите взять,— отвечали мне дети,— зачем вам опасаться собак?

— Да, но собаки не могут знать, что я ничего не возьму.

И дети сказали:

— Тогда, наверно, собаки возьмут вас.

Я отказался путешествовать один и просил найти мне проводника. Отвечали, что проводника нет, никто не идет в Кайшаури. Я согласен

был ждать до утра. Наконец сказали, что есть проводник: он обедает, освободится через сорок минут.

Я ждал терпеливо. Наконец вышел мой спутник — с мешком на плече, девяти лет от роду и назвался Арчилом. Он шел в селение Сетури.

— Арчил,— сказал я,— дай я понесу твой мешок. Мне нетрудно, а тебе будет легче идти.

— Спасибо,— отвечал он,— но это не надо. Поручение имею доставить лук и, если вы понесете, как смогу сказать, что выполнил поручение?

— Арчил,— спросил я,— а как ты относишься к собакам?

— Никак,— отвечал он,— я еще маленький.

— А как же мне относиться?

— Не беспокойтесь,— отвечал он,— они сами к вам отнесутся.

Я поплелся за ним, почти совсем потеряв интерес к этой высокогорной прогулке.



Тифлис. Картина Лермонтова.



Тифлис. Замок Метехи. Рисунок Лермонтова.

Вдруг увидел я в стороне группу молодых колхозников, которые о чем-то живо беседовали. Я поклонился. Не буду уточнять, как я кланялся; у меня имеются основания подозревать, что я поклонился подобострастно. Один из юношей вышел ко мне на дорогу и поинтересовался, почему без пальто и без шляпы, с одной тростью в руках, я путешествую по этим местам, не заблудился ли, не нуждаюсь ли в помощи.

Я ответил, что по этим местам путешествовали в прошлом столетии Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, что, занимаясь историей русской литературы и этой эпохой, я как историк и критик (я не стал говорить — «литературовед») счел долгом своим повторить их маршрут.

И вместо одобрения услышал:

— Да. К сожалению, наша критика иногда еще отстает от литературы и жизни. Давно бы надо было прийти... Хорошо,— продолжал он, — что трость захватили с собой, она вам поможет...

И он стал отбиваться дубиной от желто-белых чудовищ. Мохнатые, короткотелые, с обрезанными ушами, с черными, словно сажей намазанными, физиономиями, с мелкими, как у щук, зубами, с кри-



Лезгинка. Рисунок Лермонтова.

выми, как ятаганы, клыками, они хрипели, кидались, метались, внутри у них клокотало. Оскорбительно было слышать этот сиплый, надсадный лай, несовместимый с человеческим достоинством!

Наконец новый знакомец отбился от них и сказал:

— Должен расстаться с вами: в правление колхоза иду.

Я снова зашагал за Арчилом.

Завидев Кайшаури — цель недавних моих вожделений, но предвидя новые встречи с овчарками, я решил внести на обсуждение проект.

— Зачем нам идти в Кайшаури? — сказал я Арчилу.— Обойдем его стороною, подышим воздухом. Что мы там потеряли?

— В горах живем: неужели вам нашего воздуха не хватает? — резонно спросил Арчил.— А кроме того, я никогда не прячусь и всегда хожу по дороге.

Мы вошли в Кайшаури. Гляжу: стоит машина совершенно того же цвета, как и та, в которой я приехал в Квешеты. Около машины тот же самый шофер...

— Я не стал ожидать у Крестовой,— заговорил он, отделяясь от машины и степенно выходя мне навстречу.— Узнал, что дорога пло-

хая, но все же можно проехать, и прибыл сюда. А пока здесь стою, выяснил: вот в этом доме сто пятнадцать лет назад ночевал Лермонтов. Чайник у него с собой был, воду разогрел, пил чай, беседовал с товарищем. Это никто пока не знает, я первый открыл; так и напишите в вашей книге.

Спасибо Арчилу! В хорошее положение попал бы я, если бы обошел стороною это селение, оставив шофера с машиной в тылу!

Простились мы тут с милым моим провожатым и поехали за Крестовый перевал, где надо было еще уточнить подписи к уже разгаданным лермонтовским рисункам. А что означает подпись «Развалины на берегу Арагвы», так и осталось невыясненным.

Пришлось предпринять новую экспедицию в эти места. Приехали мы через несколько дней в Кумлисцихе — селение на склоне Гуд-горы на Военно-Грузинской дороге, вошли в дом, где разместилось правление колхоза. Оно как раз заседало: решался вопрос о перегоне баранты на зимние пастбища в Кизлярскую степь. Шофер мой, весьма увлеченный опознанием лермонтовских картинок, сказал председателю:

— Как погнать баранов на зимнее пастбище — это потом решите. Каждый год посылаете... А вот тут есть неотложный научный вопрос: ваши это места или не ваши? — спросил он, предъявляя рисунок и начиная сердиться.— Кто-то должен принять ответственность? Написано: Арагви. Ездим-ездим — нет желающих. Свои места должны знать? Хорошо посмотрите!

Наверно, в первый раз в истории литературной науки вопрос решался в такой обстановке. Члены правления рассмотрели рисунок, обменялись мнениями, и председатель сказал:

— Если ищете крепость и церковь, как здесь нарисовано,— нет у нас. Если место хотите видеть такое, — Нико пойдет, который ночью кооператив сторожит, и покажет. Это выше колхоза Ганиси.

Взяв с собой сторожа, поехали мы, петляя то влево, то вправо, все выше и выше, и добрались почти до Крестовой. Там, где в склоне горы образуется зеленая впадина, носящая наименование «Чертова долина», где лежат обломки гранитных скал, по преданию набросанные здесь из ревности разгневанным духом Гуда, полюбившим красавицу, жившую в этих местах,— мы остановились и закрыли машину. Тропинка повела нас в расселину между скалами, и по этой тропинке мы бросились бежать на дно двухверстной пропасти.

И пастырь
нисходит
к веселым
долинам,
Где мчится
Арагва
в тенистых
брегах.



М. Ю. Лермонтов. Автопортрет. 1837.

Как серебряный ручей с нарисованными волнами, мчится на дне этой пропасти, вернее, хранит вид движения бесшумная, неподвижная Арагва; безлюдными кажутся крохотные макеты селений. Под ногами крутая тропа, справа скалистая стена, слева пусто, словно идешь в воздухе по крылу самолета.

Упираясь ногами в тропу, отдуваясь, откинувшись всем телом назад, работая на бегу локтями, жалея, что в теле нет тормоза, мы сбежали наконец в слышимый мир, на каменистое ложе пенистой, шумной Арагвы, к малолюдным осетинским селениям, обведенным оградами из плоских камней.

Впереди, у самой Арагвы, на том берегу — гора. Нет, не гора. Огромная глыба словно скатилась откуда-то к самой воде, легла здесь и поросла густой рощей. Осенняя расцветка листвы — розовая, ржавая, рыжая, желтая, золотая, багряная — так богата оттенками, что кажется, гору покрыли богатым цветистым ковром. И это особенно удивительно, потому что ущелье безлесно.

Форма горы отчасти напоминает колпак, какими покрывают домашние чайники: скаты крутые, а гребень длинный и узкий. На гребне — развалины крепости. Полезли наверх по обратному скату горы; он крут, но порос зеленой травой и опутан овечьими тропами; они тянутся одна над другой, эти узенькие террасы, в несколько сантиметров ширины. Хватаясь за землю руками, можно боком взобраться по ним.

Наверху — осыпь камней, остатки крепостной стены, основания башен, развалины церкви, ступени разрушенной лестницы, выходящей на этот зеленый склон. Стоит часовня без крыши, сложенная без раствора из плоского шифера и кое-где хранящая следы обмазки.

День ясный. На солнце греются змеи и с шорохом ускользают, заслышав шаги.

Отсюда тропинка ведет вниз — к селению Хатис-Сопели. Это несколько домиков с плоскими кровлями.

Мы спустились и вышли на русло Арагвы. Когда же отошли вниз по течению примерно полкилометра и я оглянулся — сердце от радости повалилось в колени:

— Глядите!

Мы ахнули. Это и есть то самое!.. Гора, покрытая рощей, повороты ущелья, селение на другом берегу, те же контуры дальних вершин, что на рисунке!.. У Лермонтова, если хорошенько вглядеться, видно: часть башни уже обрушилась. А теперь разрушилось все до самого основания.

Отошли от этого места — проводник указывает на отверстие в отвесной скале.

— Это пещера, где привязан несчастный Амирани,— говорит он.— Рассказывали, будто бога обидел и бог его наказал. Не может порвать цепь и потому стонет Амирани. Между прочим, что рассказывают о Прометее,— это наша легенда. Но очень известная. И уже забывают, кто рассказал первый...

Амирани стонет в пещере! Конечно, Лермонтову была известна эта легенда. Помните, в «Демоне»: путнику, который слышит рыдания Тамары, кажется:

«...то горный дух,
Прикованный в пещере, стонет».
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

Может быть, Лермонтов здесь и услышал эту легенду?

Дальше пошли. На гребне горы — часовня. Интересуюсь, что за часовня.

— Иконы раньше там были,— отвечает сторож Нико.— Говорили, надо молиться в этой часовне, чтобы не пострадать от лезгин. Кто помолится — в бою победит. Все это выдумки, пережитки, идеалистическая точка зрения... Старые люди не знали хорошо и сказали эту легенду...

Но ведь и Лермонтову она была, очевидно, известна! Жених Тамары — «властитель Синодала» — спешит на брачный пир, он пренебрег обычаем прадедов, не помолился в часовне — и убит в ночной стычке!

И вдруг все стало ясно: эти места и описал Лермонтов в «Демоне»! Он оживил эти древние развалины, населил их людьми, превратил в замок Гудала. Здесь живет его Тамара. Сюда прилетает Демон навевать сны на ее «шелко́вые ресницы». А в конце — в эпилоге — он описал этот замок, но уже заброшенный, опустелый, напоминающий о прежних днях, о том, что волновало в поэме:

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут звеня издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботное дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Года во очередь свою;
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью...
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

...Вернулся я в Тбилиси. Интересуюсь: где же мне довелось побывать? Что я видел?

Постучался к историку. Повидался с этнографом. Посоветовался с искусствоведами, с археологом, с башневедом — есть и такая редкая специальность! Стал рассматривать старые карты. На рукописной карте Грузии, составленной в 1735 году историком и географом Вахушти Батонишвили, увидел я кружок с крестиком на том месте, где побывал, и подпись «Монастырь всех святых».

Открываю «Географию Грузии» того же Вахушти. Читаю: «Выше (то есть у истоков Арагвы) есть «Монастырь всех святых», ныне уже упраздненный».

Упраздненный уже в первой половине XVIII века?! Значит, Лермонтов изобразил средневековую крепость!

И рисунок неожиданно приобрел новое содержание. Это — исторический документ! Изображение памятника, более не существующего! Неудивительно, если репродукции этого лермонтовского рисунка появятся скоро в истории грузинской архитектуры, в путеводителе по окрестностям Военно-Грузинской дороги...

Но главное все же не в этом. Главное в том, что рисунок Лермонтова дополняет наши представления о работе поэта Лермонтова. Оказывается, этот рисунок — иллюстрация к «Демону», возникшая еще до того, как поэма была написана. Более того: можно считать вообще доказанным, что рисунки Лермонтова — не развлечение странствующего офицера, не занятие от нечего делать, а род записных книжек поэта, часть его вдохновенной и упорной работы. В них отразилась культура работы Лермонтова, внутренняя связь его многообразных талантов...

Рисунок помогает понять нам творческую историю «Демона», подтверждает, что Лермонтов слышал в ущелье Арагвы народные предания и легенды, что он положил в основу своей поэмы произведения грузинской народной поэзии.

Не только в поэме, но и в рисунках отразилось отношение поэта к народу, в ту пору неравноправному, угнетенному; в самом факте

создания их сказалось то великое чувство дружбы, которое доставляет нам высокое наслаждение и вызывает в нас чувство гордости.

Вот на какие мысли наводит рисунок Лермонтова. А подпись? Подпись останется прежняя: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Только теперь в этой подписи заключено будет для нас более глубокое содержание.





ЗЕМЛЯК ЛЕРМОНТОВА

В июне 1948 года, в дни чествования памяти Виссариона Григорьевича Белинского, большая делегация писателей и ученых выезжала из Москвы в те места, где прошли его юные годы,— в Пензу и Пензенскую область.

Никогда и нигде не бывало — это бывает только у нас! — чтобы чествования памяти великих людей превращались в события такой огромной важности для каждого, кто принимает участие в осуществлении этих торжеств. И хотя меня никто не уполномочил на это, я решаюсь заявить от лица всей нашей делегации, от имени тех, кто присутствовал при закладке памятника Белинскому в Пензе, кто нахо-

дился на торжественном заседании в Пензенском областном театре, и, наконец, от собственного своего имени,— я решаюсь заявить, что эти дни навсегда останутся для нас одним из самых сильных и благородных воспоминаний.

Из Пензы мы поехали в город Чембар, которому как раз в те дни было присвоено имя Белинского. А в семнадцати километрах от Чембара находятся Тарханы — ныне село Лермонтово, где Лермонтов провел первые тринадцать лет — почти половину своей короткой жизни — и где похоронен. А я, к стыду своему, долгие годы занимаясь изучением жизни и творчества Лермонтова, никогда не бывал в Тарханах. Прежде туда было довольно трудно добраться: от Москвы по железной дороге часов восемнадцать; на станцию Каменка поезд приходил ночью, а от станции — пятьдесят километров проселка... Потом от людей бывалых узнал, что все это не так уж и трудно. Но тут как раз приблизилась лермонтовская дата: в июле 1941 года делегация от лермонтовского юбилейного комитета должна была ехать в Лермонтово и возложить венки на могилу поэта. В составе этой делегации собирался побывать и я в селе Лермонтове. Все эти планы отменила война.

Теперь, едучи на торжества Белинского, я был уже совершенно уверен в том, что так или иначе побываю в эти дни и у Лермонтова.

И вот мчатся машины делегации по холмистым пензенским степям, и вдруг через левое стекло, чуть в стороне, вижу старый ветряк, зеленую крышу двухэтажного дома среди зелени старого парка, белую церковь и село, так хорошо известное мне по картинкам. Лермонтово! Чувствую, не могу мимо проехать, не имею на это права. Стал я тут уговаривать моих спутников повернуть ненадолго в Лермонтово.

— Нет,— говорят,— сегодня не стоит. Заглянем на обратном пути.

А если не заглянем?

Все же съехали на обочину. Вышел я на дорогу, поднял руку. Одна за другой стали выруливать на сторону остальные машины нашего каравана. Захлопали дверцы. Выходят наши делегаты размяться, узнать, за чем остановка.

Начал я просить, чтобы отпустили меня в село Лермонтово.

Руководитель нашей делегации Фадеев Александр Александрович подумал-подумал... и не разрешил. Сказал, что не один я такой — особенный, не одному мне хочется в Лермонтово.

— Всем хочется в Лермонтово!

И повернули все машины в село Лермонтово. Проехали по сельской улице, обогнули большой пруд, остановились во дворе дома-музея. А там, оказывается, и без нас много машин. Делегации из соседних районов и областей, ехавшие чествовать Белинского, тоже догадались по дороге завернуть к Лермонтову.

Входим в небольшие комнатки мемориального дома — в каждой толпа приезжих, слышны голоса невидимых экскурсоводов — объяснения дают в разных углах директор, работники музея, учителя... Вытягиваю шею, приподымаюсь на носках, стараюсь рассмотреть, что



Члены делегации возле дома-музея в Лермонтове. В первом ряду писатели: А. А. Жаров (первый слева), И. Л. Андроников, А. А. Фадеев (третий), рядом с ним Ф. В. Гладков, крайний справа — П. И. Замойский. Фото П. П. Вершигоры.

показывают,— ничего не разглядеть толком. Понимаю, что минут через двадцать уедем отсюда, и, конечно, можно будет сказать, что в Лермонтове я побывал, но ничего при этом не видел.

Тут я стал хлопотать, чтобы разрешили мне остаться в Лермонтове до следующего утра. Мотивировал свою просьбу тем, что все мои обязанности в Белинском исчерпываются правом посидеть в президиуме торжественного собрания.

Александр Александрович Фадеев послушал-послушал... и разрешил. Но тут же порекомендовал мне условиться с кем-нибудь из делегатов:

— Чтобы все-таки завтра сюда завернули, не забыли бы о тебе второпях!

Я подошел к писателям и каждого попросил заехать за мной на обратном пути. Застраховался! И, не подозревая того, на следующий день нечаянно повернул тем самым всю делегацию в село Лермонтово. Однако, как я потом выяснил, никто на меня за это не рассердился.

Наконец все уехали: наша делегация, гости из соседних районов и областей, делегация лермонтовских колхозников, директор музея, экскурсоводы, учителя... Уехал даже сельский милиционер. Все от-

правились на торжественное заседание в город Белинский. Я же был оставлен на попечение сторожихи и получил наконец полную возможность подробно все рассмотреть. Обошел все комнаты, погулял в парке по всем аллейкам, посидел на всех скамейках и часа через три отправился не торопясь к выезду из села, где возле белой церкви в небольшой часовне покоится прах Лермонтова.

Над часовней этой растет довольно высокий дуб, который посажен там, очевидно, из уважения к желанию Лермонтова, чтобы над ним

темный дуб склонялся и шумел.

Сторожит часовню и водит по ней экскурсии сторож-колхозник лет примерно семидесяти.

Никогда и нигде еще не доводилось мне видеть и слышать такого экскурсовода! Он рассказывает о Лермонтове так живо, так подробно и достоверно, что, кажется, он был командирован в ту эпоху и только недавно вернулся. Но при этом он не упивается знанием прошлого, не живет им. Нет! Лермонтов в его рассказе словно выдвинут из той



Дом-музей в селе Лермонтове.



Церковь и часовня при въезде в село Лермонтово.

эпохи, приближен к нам и будто стоит рядом со сторожем, «как живой с живыми говоря»!

Прежде всего старик поинтересовался, отстал я от делегации случайно или нарочно остался осмотреть лермонтовские места. Когда узнал, что «нарочно», видимо, был доволен и стал заключать условие с ребятишками, которые стояли за оградой и просили присоединить их к этой малолюдной экскурсии. Сказал им:

— Вы, ребята, мои условия знаете! Если кто из вас одно слово скажет, не стану разбирать, кто сказал: всех отправлю. Понятно? Будете находиться здесь до первого слова. И шапки оставляйте на улице. Идете к Михаилу Юричу...

Слова «к Михаилу Юричу» произнес, многозначительно понизив голос.

Входим. Посередине часовни благородный памятник из черного мрамора с золотыми словами: «Михайло Юрьевич Лермонтов». На левой грани памятника — дата рождения. На правой — дата смерти. А позади, слегка из-за него выдвигаясь влево и вправо,— памятники: матери Лермонтова — Марии Михайловне и деду — Михаилу Васильевичу Арсеньеву.

— Эти памятники,— поясняет мой вожатый,— ставила бабушка, Елизавета Алексеевна. Всех похоронила по очереди: мужа, дочь и внука. Сама померла последняя. Над ней памятника никто уж не ставил. Наследники больше интересовались имение к рукам прибрать, ограничилися дощечкой на стене: «Елизавета Алексеевна Арсеньева... скончалась в 1845 году 85 лет...» Неправильно это! Хотя она и старая была, а все же не восемьдесят пять ей было, а по новейшим изысканиям и сведениям семьдесят два... Вы посмотрите пока памятники,— говорит он мне,— а я вниз спущусь, свет зажечь... А вы,— оборачивается он к ребятам,— ступайте!.. Возле самого памятника — разговоры! Неладно так! Давайте...

Ребята оправдываются:

— Мы тихо будем... По условию...

— Вы уж много слов сказали поверх условия,— возражает старик.— Идите на улицу шептаться. Или уж точно: ни одного слова. Тогда оставайтесь...

Он спускается по винтовой кирпичной лесенке вниз. Вскоре оттуда показывается его голова, и он приглашает последовать за ним.



Пруд в селе Лермонтове.

И вот — низкий свод склепа, и впереди — огромный черный металлический ящик на шести могучих дубовых подкладках, отделенный от нас черной оградой. Металлический черный венок висит в белой нише над гробом, и несколько зажженных свечей прилеплено под сводами в разных местах. И этот теплый свет в прохладном подземелье и наше мерное дыхание среди могильной тишины еще сильнее заставляют чувствовать величие этой минуты.

— В этом цинковом ящике,— произносит старик,— запаян другой гроб — с телом Михаил Юрича, и все это находится в таком самом виде, как было доставлено сюда с Кавказа, из города Пятигорска, весною 1842 года....

— Когда Лермонтова убили,— продолжает он помолчав,— бабушка очень убивалася, плакала. Так плакала, что даже ослепла. Не то чтоб совсем ослепла — глаза-то у ней видели, только веки сами не подымались: приходилось поддерживать пальцем...

Пишет она брату Афанасию: «Желаю похоронить внука Мишеньку возле могилы его матери, в родной земле». Отвечает: «Подавай на «высочайшее». Подала она. Вышло разрешение: «Доставить с наблюдением необходимых осторожностей». Ну, чтоб шуму не было никакого и перевозить чтоб в цинковом гробу.

Прислал ей Афанасий этот ящик. Вызывает она слугу Лермонтова — Андрея Соколова, другого — Ивана Вертюкова и еще одного нашего тархановского — Болотина. «Он, говорит, вас любил. И вы тоже уважали его, ходили за ним, провожали в Петербург и на Кавказ, разделяли с ним опасности битвы. Я вам его доверяла живого. Теперь возьмите этот черный гроб, лошадей две тройки и денег сколько пожелаете. Ступайте в город Пятигорск, доставьте мне сюда моего внука Михаил Юрича...»

Отправила она их. Сколько времени проездили, не скажу точно, не знаю: возможно предполагать, что месяца два-три ездили, поскольку она их на распутицу глядя пустила. Дороги-то, сами знаете, какие были. Это теперь везде асфальт...

С Кавказа в ту пору на Пензу не ездили — она в стороне, а больше на Воронеж, Тамбов, Кирсанов, Чембар. Потом слышно — едут. Вышли мы все тут — глядим...— Он запнулся, потом поправляется: — Ну, мы — не мы! Нас-то в ту пору не было... Но все одно наши, тархановские. Те же мы — народ!.. Вышли. И видать — едет к нам гроб черный на двух тройках и народу за гробом идет мгла. И все плачут!

Как подъехали ближе, бабушку навстречу выводят. Она: «Доставили?» Андрей Соколов вышел вперед: «Доставили». Она веки пальцами подняла: «Это что ж, говорит, Мишенька?» И отпустила.

Бабушка глаза выплакала, а что у нас на селе слез было — не сказать! А всех больше убивалась кузнецова Лукерья, кузнеца Шубенина жена — мамушка Михаил Юрича... ну, сказать так еще: кормилица. Она так плакала, как родная мать. Жалели ее, что дитя родное хоронит. Он ее очень уважал, Михаил Юрич-то. Бывало, едет



Памятник Лермонтову в часовне.

в Тарханы — не к бабушке в усадьбу, а вперед к Шубениным. Кинется к Лукерье на шею и целует: «Ты, говорит, моя мамушка!»

А бабка-то услыхала и серчать: «Какая, говорит, она тебе мамушка! Чего ее целуешь-то? Это твоя крепостная мужичка. Была мамушка, а выкормила — и ладно!» Так, знаете, Михаил Юрич ей прямо так строго ответил: «А вы, говорит, не учите меня, бабушка, такой мысли. Вы меня плохо знаете. Она как мать меня выкормила, и я ее навсегда уважать буду». Ну, бабка, конечно,— молчок! Она его опасалася сердить.

А то в другой раз приезжает он к нам, а крестьяне наши к нему с подарком: подводят к крыльцу серого коня. Он покатался на нем день, к вечеру и говорит: «Хочу, бабушка, отблагодарить их. Они мне живого конька подарили, а я подарю им по новой избе с коньком. Лес пусть даром берут из нашей Долгой рощи. Вот и будет мой подарок народу».

Елизавета вся затряслась, а спорить не решилась: «Все, говорит, твое, что хочешь, то и дари».

Он ей и бить никого не позволял. «Если, говорит, увижу еще в конторе розги, в другой раз не стану приезжать в побывку». И землю крестьянам отдать наказывал бабушке. Она обещала. Но по смерти его не отдала. Не подчинилась его желанию...

Предания народные почти всегда заключают в себе элементы поэзии. Это не мешает им быть достоверными. Неточные в частностях, они зато правдиво передают характер события, характер человека, выражая самую его суть, самую глубь, как может выразить только поэзия.

— Да,— говорит сторож, подумав,— Михаил Юрич с народом замечательно обходился: уважительно, со вниманием. Бывало, услышит, что у нас на селе песни заиграют или хоровод водить начнут, бежит через плотину, куртку в рукава не успеет вдеть, кричит: «Постойте песни-то играть без меня, а то я чего, может, недовижу или недослышу»... Вы походите по колхозу, посоветуйтесь с народом,— продолжает он.— В четвертом, в пятом поколении вспоминают его. Вам, пожалуй, того расскажут, чего еще и в книгах нет. Замечательно вспоминают Михаил Юрича... Про бабушку не скажу. Про бабушку плохо говорят, про Елизавету. А чего ее хорошо вспоминать? Кто она такая? Крепостница, властелинка и самодурка!.. А вот тут лектор один приезжал, лекцию в музее читал... Лекция интересная. Но — неправильная! Послушаешь — выходит: и Михаил Юрич хороший, и бабушка хорошая, и бабушкин брат Афанасий не дурной, и вся родня замечательная. А стихи-то все же не бабушка писала, а Михаил Юрич: надо бы его отличать... Да я вам откровенно скажу,— заявляет он, махнув рукой, — я эту бабушку ненавижу. Муж ее — Михаил Васильевич — тот от жизни с ней предпочел принять отраву. Это уж она потом ему памятник поставила, а то и хоронить его не хотела. От нее хорошего никто не видал. Дочери тоже жизнь загубила — Марье

Михайловне. Эта не плохая была — Марья. Про нее тоже народ хорошо вспоминает: обходительная с людьми, деликатная, хорошенькая, хорошая. Михаил Юрич в нее, в мать, видно, и был: понятное дело — не в бабку!

Так вот: полюбила Марья Михайловна Юрия Петровича Лермонтова, отца нашего Михаила Юрича. Хороший был — вот и полюбила. А бабка не залюбила: «Плохой». И, знаете, до сих пор повторяют: «Плохой, плохой». А надо бы разобраться сперва, чем он плохой. Для бабушки он, верно, плохой был: имение бедное, неисправное, служебное положение — отставной. По ней он был неровня. А для нас он очень хороший! Потому что родину в 1812 году защищал и Михаила Юрича воспородил. С него хватит! Так нет! Довела их Елизавета, что Марья здесь живет, а Юрий Петрович — в Москве. Родила Марья мальчонку — нашего Михаила Юрича,— пожила два года, а как ему третий годок пошел — померла. Считается — туберкулез легких, чахотка. Очень может быть, что чахотка, но чтобы одна эта причина была — не доверяю... Вы хорошо поглядели, что там на памятнике у ней?

— Якорь.

— А с чего у ней якорь? Что она — матрос, что ли?.. То-то, что нет! По-моему́, якорь на памятнике означает символ разбитых надежд...

Остался на руках у Елизаветы Михаил Юрич... Ну, его-то она очень любила. Как говорится, души не чаяла. А все же скажу: она и его больше для себя любила. Он ей пишет: «Бабушка! Я желаю выдти в отставку. Желаю посвятить себя литературе». — «Ладно, говорит, я скажу, когда выходить». Вот и сказала! Правда, он не потому погиб, что на военной находился. Он бы и в гражданке погиб. Потому что царь Николай его преследовал, он его ненавидел люто. Он бы его все равно погубил. А все же, знаете, не по Михаил Юричеву вышло, а по-бабушкину... Да что про нее долго объяснять!

Он оборачивается:

— Давайте, ребята!.. Возле самого гроба диспут... Условие нарушаете опять. Ступайте...

Ребятишки смущенно улыбаются, но не уходят.

— Мы пошептали, дядь Андрей... учти впечатления...

— Новое дело: «Учти впечатления»! А в школе-то как же? Тоже впечатления! А сидите тихо, дожидаетеся, когда вызовут, соблюдаете дисциплину. А тут возле самого гроба... Притом еще человек посторонний... Ну, да уж... ладно, оставайтесь!.. Надобно согласиться,— поворачивается он ко мне,— впечатления очень большие. Я сам сколько лет экскурсии вожу... Сколько народу сюда идет! Вереница, можно сказать. А все же каждый раз, как подойду ко гробу, не могу спокойно говорить: волнуюся. Очень жалко Михаил Юрича!.. Я, конечно, понимаю, что Пушкин — Пушкин. Тут ничего не возразишь: Пушкин и есть Пушкин. Но все же, если допустить, что наш Михаил Юрич

пожил бы, как Пушкин, до тридцати семи лет, то еще неизвестно, кто бы из них был Пушкин! С другой стороны сказать: если бы Пушкин, как наш Михаил Юрич, не дожил бы даже и до двадцати семи годов, опасаешься думать: «Евгений Онегин» не был бы закончен, не было бы даже возможности издать полное собрание сочинений!

Он умолкает, потом говорит:

— Там, наверху, жарко, а здесь как бы не прохватило вас. Лучше подымемся. Пожелаете — можно второй раз спуститься.

Мы выходим наверх, в часовню. На подоконнике лежит книга записей.

— Распишитесь,— предлагает «дядя Андрей».— Делегация ваша проехала, осмотрели, а расписались неправильно. Тут разделено: на этой стороне листа указать фамилию, имя, отчество, от какой организации, город. А здесь вот — подпись. А они не заполнили ничего, а подписи иные даже не поймешь. Вы мне подскажите...

Он берется за карандаш.

— Это кто?

— Это Фадеев.

— «Молодая гвардия»? — спрашивает он, встрепенувшись.— Да, этой книгой у нас очень увлекаются! Жалко, я не знал, что товарищ Фадеев сюда заходил. Тем более что у меня до товарища Фадеева дело... А это чья роспись?

— Эренбург.

— Илья? Этот нам тоже знакомый. Читаем. А тут кто?

— Всеволод Аксенов.

— Это что? По радио что-либо читает?

— Он самый.

— Тогда тоже известен...

— Эх,— вздыхает он, закончив изучение подписей,— выходит, тут писатели московские были, и я всех видел, но никого не повидал. А дело у меня к товарищу Фадееву вот какое. Ходит сюда народ. Оставляет возле памятника знаки своего уважения к Михаилу Юричу. Вот знамена стоят... Это вот от районного комитета: «Поэту — борцу за свободную человеческую личность». То знамя — от областной комсомольской организации. От наших колхозников: «Поэту-земляку... любимому Михаилу Юрьевичу Лермонтову... от колхозников села Лермонтова...» Пионеры приходили с барабаном — возложили цветы к подножию. От писателей желательно тоже... Да вы мне не говорите,— успокаивает он меня, пресекая попытку объяснить, как это все случилось. — Я сам вам скажу.

Ехали к Белинскому. Вот! Венки-то все на Виссариона Григорьевича выписаны. А тут возле нас поровнялися — один шустрый какой и скажи: «К Лермонтову заедем?» Вот и заехали!.. Да не в венке дело, — говорит он успокоительно. — Главное дело, что побыли тут, постояли в молчании, подписи оставили в книге. Народ будет очень



Часовня.

доволен. Мы еще до войны слыхали, что предполагается прибытие делегации от Союза советских писателей для возложения венков. Вот теперь бы неплохо опять про это дело напомнить товарищу Фадееву: прислать бы, знаете, небольшую делегацию — человека два, больше не надо, потому что ассигнований на это дело у него не отпущено в этом году, поскольку нет юбилея. И так подобрать писателей, чтобы один стихи почитал, а другой речь сказал. И возложили бы. А случай подыскать можно: скажите, что годовщина, мол, бывает каждый год. Так и передайте товарищу Фадееву, что сторож при могиле Михаила Юрича вносит свое предложение в Союз советских писателей...

Я обещаю передать его просьбу. Стоя уже на пороге часовни, он раздумывает, что бы еще показать.

— Всё! — объявляет он.— Больше нечего объяснять! Вот разве взойти вам на колокольню. Оттуда вид замечательный. Я-то не могу вас проводить — у меня нога больная. А вот ребятки проводят...

Давайте, ребята, только осторожно: там одной ступеньки не хватает. Глядите, оступится гражданин — я с вас взыщу...

— Михаил Юрич,— говорит он, прощаясь,— бывало, как приедет, первым долгом на колокольню. «Мне вольней дышать там. Простор, говорит, вокруг далекой». Передают, он там и стихи написал, на колокольне. Вот эти. Нет, не эти! А также:

Дайте волю, волю, волю,
И не надо счастья мне...

Жалко, до нас не дожил: была б ему теперь полная воля.





ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Посвящается
Вивиане Абелевне Андрониковой,
которая заставила меня записать
этот рассказ.

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКАЯ УДАЧА!

Уже не помню сейчас точную дату, знаю только, что это было весной, когда знакомые позвонили мне по моему московскому телефону:

— Послушайте, Ираклий! Вас интересует письмо Лермонтова? Подлинное. И, кажется, еще неизвестное.

Что это, шутка? В трубке слышится дружный хохот, голоса: «Что, молчит?», «Он жив?», «Представляю себе его видик!»

Может быть, розыгрыш?.. Нет! Голос, который произнес эти ошеломившие меня фразы, принадлежит женщине серьезной, уважаемой, умной, немолодой, наконец! Положительной во всех отношениях! Конечно, это чистая правда! Вот радость!

Начинаю выражать восторги, ахать, шумно благодарить собеседницу.

— Чтобы увидеть это письмо,— говорит она уже совершенно серьезно,— вам придется ехать в Актюбинск... Почему в Актюбинск? Потому что письмо находится там! — И снова смеется.— Вот уж правда, что на ловца и зверь бежит! Новая тема для ваших рассказов. Кроме лермонтовского письма,— продолжает она, словно решила меня дразнить,— там, говорят, есть еще кое-что. И, кажется, даже много «кое-чего». У нас сейчас сидит доктор Михаил Николаевич Воскресенский. Он только что из Актюбинска. И расскажет вам все это, конечно, лучше меня. Передаю ему трубку...

То, что я услышал от Михаила Николаевича Воскресенского, заинтриговало меня еще больше.

— Пользуясь любезностью наших общих друзей, обращаюсь к вам за советом,— начал он негромко и осторожно.— Дело в том, что проживающая в Актюбинске Ольга Александровна Бурцева уполномочила меня переговорить в Москве о судьбе принадлежащих ей рукописей. Кроме письма Лермонтова, у нее хранятся письма других писателей. Все это она хотела бы предложить в один из московских архивов. Вы, насколько я знаю, связаны с Государственным литературным архивом, и, если не возражаете, мне хотелось бы подробнее поговорить обо всем этом при личном свидании.

На другой день он приехал ко мне — небольшой, предупредительно-вежливый, скромный, с представительной, прежде, видимо, очень красивой женой — и в доказательство серьезности намерений Бурцевой разложил на скатерти два письма Тургенева, два письма Чехова, два письма Чайковского и маленькую записочку Гоголя. Разложил и взглянул на меня вопросительно и вместе с тем понимающе.

Увидев все это, я присмирел и в тот же миг углубился в чтение. Да. Конечно. Подлинные автографы. Письма Чехова опубликованные. И никогда еще не появлявшиеся в печати письма Тургенева и Чайковского. Объявление Гоголя об отъезде его за границу в собраниях его сочинений тоже не обнаружилось.

— Если эти рукописи представляют для вас интерес,— заговорил доктор снова,— то Ольга Александровна хотела, чтобы приехали к ней в Актюбинск и познакомились с остальными.

— А сколько их у нее?

— Затрудняюсь сказать: я видел не все — только часть. По моим представлениям, у нее много интересного и, видимо, редкого: автографы музыкантов, писателей, ученых, итальянских певцов. Это не моя область: по специальности я рентгенолог. В прошлом мы с женой ленинградцы, ну, и, конечно, большие любители музыки, литературы, театра... На наш взгляд, коллекция представляет исключительный интерес.

Жена подтвердила.

Возвращая автографы, присланные в качестве образца, я просил

передать Ольге Александровне Бурцевой, что приеду в Актюбинск, предварительно договорившись о передаче принадлежащих ей рукописей в Центральный государственный архив литературы и искусства. А с доктора взял обещание: по возвращении в Актюбинск выслать хотя бы приблизительное описание тех документов, о которых мне следовало вести переговоры в Москве.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Письмо пришло через месяц. Оно состояло из длинного списка фамилий великих деятелей русской культуры. Впрочем, это было еще не все: доктор предупреждал, что многие подписи ему разобрать не удалось и что Ольга Александровна не очень хотела бы заочного решения вопроса.

Перечитав список бессчетное число раз, выучив его чуть ли не наизусть, я отправился в Центральный государственный архив литературы и искусства, который сокращенно именуется ЦГАЛИ, а в разговорах просто Гослитархив и даже Литературный архив.

Иные и до сего времени связывают с этим словом представление о какой-то безнадежно серой и нудной работе, с пренебрежением говорят: «сдать в архив», «архивная пыль», а то еще и «архивная крыса»... Деятели архивного дела рисуются им людьми пожилыми, с нездоровым цветом лица, с блеклым взглядом, сторонящимися живой жизни и бегущими от нее в прошлое. Сказка! И притом старая. Нынче в учреждениях подобного рода, особенно в системе Главного архивного управления, работают больше девушки-комсомолки, мужчины в полном выражении здоровья — народ современный, живущий не прошлым, а самым что ни есть настоящим. Они окончили Историко-архивный институт (или университет), помышляют о диссертации (или уже защитили ее), одержимы стремлением не только хранить, но прежде всего изучать, разведывать архивные недра, вводить в научную эксплуатацию новые запасы исторического сырья, занумерованного и скрытого в помещениях, недоступных солнцу, огню и воде, сырости, холоду и хищениям. Нынешний архивист не вздохнет над засушенным цветком в старинном альбоме, не загрустит над упакованным в миниатюрный конвертик колечком золотистых волос. Не сувениры прошлого привлекают его, а неизвестные факты этого прошлого. Не в его характере ахать и удивляться. Особенно трудно чем-либо удивить работников ЦГАЛИ — архива, принявшего в себя многое множество старинных рукописей в связках, в папках, в картонах, коробках и переплетах из музеев Литературного, Исторического, из театров Большого и Малого, из Третьяковской галереи, из Московской консерватории, из Архива древних актов и другие более близкие к нам по времени акты, договоры, письма и рукописи, которые передали в ЦГАЛИ нынешние наши издательства и творческие организации. Чем удивить работников это-



Центральный государственный архив литературы и искусства.

го архивного левиафана, насчитывающего около двух тысяч отдельных фондов — фондов родовых и семейных, писателей и ученых, актеров и музыкантов, деятелей политических и общественных?! Станут ли там ахать и удивляться при виде еще одного письма или двух фотографий? Привыкли!

Однако сообщение доктора Воскресенского даже и в ЦГАЛИ произвело впечатление огромное. Зарумянились опытнейшие, оживились спокойнейшие. Просто неправдоподобным казалось, что в Актюбинске, в частных руках, может храниться такая удивительная коллек-

ция. Все задвигалось, заговорило, принялось строить догадки и вносить предложения. Одни считали необходимым немедленно запросить или вызвать, другие — отправить и привезти, третьи — просто доставить. Иные советовали не торопиться, а рассмотреть, обсудить и решить. Но поскольку рассматривать было нечего, то и обсуждать было нечего, а решать могло только вышестоящее Главное архивное управление, ибо даже и предварительные расчеты показывали, что для подобной покупки потребуются ассигнования особые.

Сначала писал по начальству я, потом начальник архива, все пошло своим чередом. И насунулся уже декабрь, и давно установилась зима, когда нужные суммы были отпущены и вышел приказ командировать меня в Актюбинск для изучения коллекции рукописей и переговоров с владелицей.

СКОРЫЙ «МОСКВА—ТАШКЕНТ»

Ободренный командировочным удостоверением (я замечал, что оно как-то придает человеку энергии), заручившись рекомендательным письмом к О. А. Бурцевой от Союза писателей СССР, я «убыл» с ташкентским поездом.

Теперь, когда медленно заскользили за стеклом составы пустых электричек, потом побежали под мостами убеленные снегом улицы с трамваями, про которые уже давно забыли в центре Москвы, когда закружились на белых полянах однорукие черные краны, осеняющие кирпичные корпуса, промелькнули вытянувшиеся возле переездов трехтонки и самосвалы, я мог наконец подробно обдумать поручение, которое по желанию моему и ходатайству возложило на меня Главное архивное управление. Что же это за рукописи? Сколько их? Как их оценивать? Автограф автографу рознь. Можно расписаться на визитной карточке, на театральной программе — вот тебе и автограф! Но написанные от руки страницы романа или рассказа, письмо да и всякая рукопись автора — тоже автограф! Как примет меня Ольга Александровна Бурцева? С чего начинать разговор? Какими глазами буду глядеть я, возвращаясь через несколько дней, на все эти подмосковные дачи и станции?

К исходу второго дня пошли места пугачевские, пушкинские, известные с детства по «Капитанской дочке»,— оренбургские степи, где разыгрался буран, когда «все было мрак и вихорь», ветер выл «с такой свирепой выразительностью», что казался одушевленным, и, переваливаясь с одной стороны на другую, как «судно по бурному морю», плыла среди сугробов кибитка Гринева! Сперва думалось, как поэтично и верно у Пушкина каждое слово, потом мыслями завладел Пугачев, пришли на память сложенные в этих местах песни и плачи о нем, в которых он именуется Емельяном и «ро́дным батюшкой», покинувшим горемычных сирот...

Оренбургские степи перешли в степи казахские. Тогда я еще не мог знать, что передо мною расстилаются те самые земли, подняв которые славный Ленинский комсомол прославит навсегда своим подвигом! Несколько лет спустя, осенним днем, я смотрел на них в круглое окошечко самолета. Черно-бархатные и золотисто-русые квадраты, вычерченные рукой великана, пропадали в стоверстной дали, заваленной дымной мглой. Простроченное пупырышками заклепок крыло неподвижно висело, подбирая под себя эти бескрайные земли, а они все текли и текли... Но это было потом, через несколько лет. А тогда я ехал, а не летел. И поезд стучал и покачивался, на окне лежала толстая шуба инея, в окно проникал серебристо-серый морозный свет. Процарапав на стекле щелку, можно было видеть степь в завихрении дыма и вьюги. Ветер катался по крыше и к ночи совсем разошелся: толкал вагон, сбивал с такта колеса. Наконец, вынырнув из темноты, окно засверкало, в купе завертелись тени, остановились, под вагоном стукнуло, скрипнуло, брякнуло, стал слышен храп, в душную спячку ворвался холод.

— Актюбинск!

СОТРУДНИЦА АКТЮБИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Уже к концу первого дня каждый приезжий узнаёт, что «Актюбе» — «Белый холм», что не так давно здесь было казахское поселение и старые люди помнят, как оно становилось Актюбинском. Теперь это крупный город. В годы пятилеток здесь возникла промышленность — завод ферросплавов, «Актюбрентген», «Актюбуголь», «Актюбнефть» и другие актюбпредприятия, Актюбинский аэропорт. Потом город оказался среди поднятой вековой целины. И пошли на сотнях тысяч конвертов слова «Актюбинск», «Актюбинский»... И стал он городом будущего...

Но это я опять забегаю вперед. В то утро я еще не знал всего этого, а, сдав вещи в гостиницу, торопливо шагал по архивным делам к доктору Воскресенскому.

Буран утих. Актюбинск спешил на работу. Сияли сугробы, в светлое небо поднимались жемчужные дымы, снег под калошами визжал и присвистывал.

Можете поздравить меня! В этот час Михаил Николаевич Воскресенский спешил на работу уже в другом городе. Оказывается, покуда я собирался в Актюбинск, Москва утвердила его диссертацию и он принял приглашение в Воронеж.

— Недели три как уехали. Они больше здесь не живут!..

А я так на них полагался, что не узнал даже адреса Бурцевой.

Правда, выяснить это было нетрудно. Но пока я перебегал с тротуара на тротуар, расспрашивал, как пройти в управление милиции, потом искал Красноармейскую улицу, Бурцева уже ушла на работу —

в топливный отдел Актюбинского горисполкома, или, короче, в Гортоп. Это заставило меня еще раз пробежаться в хорошем темпе по городу, бросив взгляд на бронзовую фигуру знатного казахского просовода Чаганака Берсиева. Непредвиденные препятствия распаляли нетерпение и беспокойство. «Что,— думал я,— если раньше конца дня на автографы поглядеть не удастся? А может быть, и до завтра?.. А вдруг она не сможет показать их до воскресенья?! Хоть бы Лермонтова увидеть сегодня!..»

Но тут я уже читаю на табличке: «Гортоп» — и, обметя веничком ноги на деревянном крылечке, вступаю в помещение, где за столами вижу пятерых женщин — четырех помоложе, одну постарше других.

Те, что помоложе, подняв голову при моем появлении, не проявили ко мне никакого решительно интереса и снова углубились в работу. Та, что постарше — лет пятидесяти,— с пронзительным темным взглядом, с интересным и тонким лицом, с цветной повязкой на седеющих волосах, проявила ко мне значительный интерес. Наклонив голову и слегка опустив ресницы, она дала понять, что догадывается, кто я и откуда к ней прибыл, но не хотела бы распространяться здесь — в учреждении — на тему, с работой не связанную.

Я представился ей. Она, в свою очередь, познакомила меня с остальными. Зашел разговор о вчерашнем буране, об изобилии снега, о гостеприимстве актюбинцев, о достоинстве актюбинских гусей, продающихся на колхозном базаре.

Проявив повышенный интерес к актюбинской кухне, ибо время завтрака уже миновало, я извинился тем, что у меня к Ольге Александровне неотложное дело и я хотел бы его изложить, не мешая другим.

Ольга Александровна, казалось, находится в затруднении: начальник уехал в район, если только уйти без его разрешения?

Сослуживцы ее поддержали: будь начальник на месте, он, конечно, отпустил бы поговорить — человек из Москвы, потеряет день понапрасну. Два-три часа можно всегда отработать.

Доводы показались Ольге Александровне вескими, и мы вышли.

ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ ВОСЕМЬ

Бурцева привела меня в комнату на втором этаже, обычную комнату о двух окнах, затопила небольшую плиту, поставила чайник и в нерешительности стала оглядывать стол, диван, подоконники.

— Прямо не представляю себе,— сказала она,— где вы разложите их...

Список я знал. Знал, что бумаг будет много. Тем не менее сердце испуганно екнуло, стало жарко.

— На столе? — сказал и тут же понял, что глупо.

— Ну стола-то вам, конечно, не хватит,— ответила Бурцева, быстро

взглянув на меня и улыбнувшись любезно и живо. И я — за эти полчаса в который раз! — отметил про себя, что она держится с простотой и свободой человека благовоспитанного и сдержанного.

— Впрочем,— продолжала она,— как-нибудь выйдем из положения. Боюсь только, негде будет поставить чай. А вы у меня голодный...

Сделав шаг по направлению к окну, она сдернула скатерть, какою была накрыта стопка вещей в углу, сняла и отставила в сторону корзиночку, потом чемодан, еще чемодан...

— А этот,— сказала она, указывая на самый большой,— берите! Ставьте его на диван!

Я схватился... Помятый, общарпанный чемодан в старых ярлыках и наклейках, служивший хозяевам, видимо, с дореволюционных времен... Схватился за ручку — он как утюгами набит! Взбросил его на диван... Бурцева подняла брови:

— Открывайте! Он у меня не заперт...

Раздвинул скобочки, замки щелкнули, крышка взлетела...

Нет! Сколько ни готовился я увидеть эту необыкновенную коллекцию и взглянуть на нее спокойно и деловито — не вышло! Я ахнул. Чемодан доверху набит плотными связками... Письма в конвертах... Нежные голубые листочки. Листы плотной пожелтевшей бумаги из семейных альбомов. Рескрипты. Масонские грамоты. Открытки. Визитные карточки. Аккуратные копии. Черновики. По-русски. По-французски. По-итальянски...

Задыхаясь, беру письмо... «Лев Толстой»... Фуф!!! Как бы с ума не сойти!..

...Автобиография Блока!

...Стихотворение Шевченко!

...Духовное завещание Кюхельбекера!

...Черновик XII главы «Благонамеренных речей» Щедрина!

...Фотография Тургенева с надписью.

...Рассказ Николая Успенского.

...Стихотворение Есенина...

...Письмо мореплавателя Крузенштерна... Революционера Кропоткина... Кавалерист-девицы Дуровой... Художника Карла Брюллова... Генерала Скобелева... Серафимовича, автора эпопеи «Железный поток»... Академика Павлова...

Читать одни подписи?.. Нет! Надо хотя бы проглядывать!.. Это что? Карамзин?

...Нашел две харатейные Нестеровы летописи весьма хорошие: одну 14 века у Григория Пушкина, которую уже списал для себя, а другую в библиотеке Троицкой, столь же древнюю. Ни Татищев, ни Щербатов не имели в руках своих таких драгоценных списков... Одним словом, не только единственное мое дело, но и главное удовольствие есть теперь история. Думаю, что бог поможет мне совершить начатое не к стыду века...

12 сентября 1804 года. Письмо к какому-то Михаилу Никитичу... Муравьеву, должно быть?! «Начатое» — это, конечно, «История государства Российского».

Дорогой Антон Степанович...

Это Рахманинов пишет Аренскому!

...Будь добр... сделай мне одолжение... нечего и говорить, конечно, что я заранее одобряю и доволен твоим выбором... В первый момент, как я прочитал твое письмо, мне пришло в голову, что лучше Земфиры-Сионицкой и Шаляпина-Алеко я никого не найду. Но согласятся ли они? Как бы то ни было, но я прошу тебя подождать назначать когонибудь на эти роли дней пять, шесть, когда я сообщу тебе результаты...

17 апреля 1899 г.

Речь идет о подборе певцов для постановки оперы Рахманинова «Алеко» в Таврическом дворце в Петербурге...

...об Грибоедове имеем известия... он здоров, но, говорят, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку, что-то серьезное пишет...

Чья подпись? «Д. Бегичев». Письмо Кюхельбекеру. Март 1825 года — время, когда Грибоедов находится в Петербурге, где с огромным успехом в декабристских кругах ходит по рукам в копиях «Горе от ума». Что Грибоедов сочинял музыку — всем известно! Но это, кажется, свидетельство новое!..

А это?! Шесть, семь... целых восемь писем самого Кюхельбекера. К разным лицам. Из ссылки.

Позволено ли поэту изображать порок?..

Ого!.. В печати не появлялось!..

Изображать поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним, но представлять порок в привлекательном виде преступление не перед одною нравственностью, но и перед поэзиею...

Взгляд на роль и назначение литературы, характерный для декабристов, требовавших от нее высокого этического идеала. Письмо 1835 года. Прошло уже десять лет после крушения всех декабристских замыслов; Кюхельбекер, отбывая сибирскую ссылку, проповедует свои прежние взгляды.

А это что же такое — в другом письме Кюхельбекера? *«...Пушкина...»?*

чтобъ Онъ Всемилостивѣйшимъ Указомъ повелѣлъ
Исторiографу считаться въ одномъ классѣ
съ Профессорами: чѣмъ утвердилось бы еще
более сiе мѣсто, которое, будучи сопряжено
съ трудами не безважными, достойно въ по-
рядкѣ Государственныхъ чиновъ равняться
съ мѣстами Профессорскими. Честолюбiе
Исторiографа могло бы на всю жизнь ограни-
читься такою степенью; а Вы остались бы
на всегда творцемъ сего достоинства въ Россiи.

Съ истинною благодарностiю и съ живѣйшимъ
высокопочитанiемъ имѣю честь быть,

Милостивый Государь!

Вашъ покорный слуга
Николай Карамзинъ.

Москва,
12 Сентября 1804.

Чье письмо?
«... ваш покорный слуга Николай Карамзин».

Как-то не подходит автору только что провалившейся оперы, виновнику убытков, которые несомненно понесены Дирекцией, обращаться к ней съ просьбой о возобновлении старой оперы, при чемъ очень предвидятся расходы. Но зная как Вы добры, я всё таки прошу. Не затрудните себя, многоуважаемый Иван Александрович, немедленным письменным ответом. Въ скором времени я буду в Петербурге и тогда, если позволите, мы поговорим об этом. Глубоко уважающий и благодарный Вам

П. Чайковский

[illegible] назначать кого нибудь на эти роли [illegible], когда я тебя и [illegible].

Когда начнутся репетиции? Сообщи мне пожалуйста Где они будут? Какой хор будет петь? Прости что заваливаю тебя вопросами но меня все это очень интересует. Пока до свидания.

Искренно тебе преданный

твой С. Рахманинов

по телефону узнал что они затерялись. Пришлите пожалуйста Ваш другой экземпляр.

Уважающий Вас. С. Есенин.

«...Глубоко уважающий и благодарный Вам П. Чайковский».
«...Искренно тебе преданный твой С. Рахманинов.»
«...уважающий Вас С. Есенин».

Успел прочесть Гусара Пушкина. По моему мнению журналисты с ума сходили, нас уверяя, что Пушкин остановился, даже подался назад. В этом Гусаре Гётевская зрелость таланта...

Великолепные письма! Каждое!.. Вот еще: о заслугах поэта Гнедича — переводчика «Илиады» Гомера. О его — Кюхельбекера — работе над трагедией «Прокофий Ляпунов»... Это, кажется, менее интересное письмо; «Казань, 21 Генваря 1832 года...» Чье это?

Мы были на литературном вечере у Фуксов...
Н. И. Лобачевский...

Нет, тоже важное!

...Н. И. Лобачевский читал стихи сочинения m-me *Фукс и несколько раз чуть не захохотал... Баратынский все время сидел с потупленными глазами...*

Великий математик Н. И. Лобачевский и замечательный поэт Е. А. Баратынский в казанском литературном кругу! Тоже интересно! Адресовано письмо литератору Ивану Великопольскому.

Бросаю его, потому что вижу почерк Чайковского ...о «Чародейке»!

...В глубине души я твердо убежден, что фиаско незаслуженно, что опера написана с большим тщанием, с большой любовью и что она совсем не так плоха, как об ней с единодушной враждебностью отозвались петербургские газеты...

Гениальнейший композитор оправдывается перед директором императорских театров И. А. Всеволожским после того, как новая его опера провалилась на императорской сцене! Это тоже письмо неизвестное, интереснейшее письмо!.. Где тут у меня композиторы?

Письмо ложится на подоконник, рука тянется к чемодану... И — даже в жар бросило! — Лермонтов!

Милая бабушка, так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру и карету видел, да высока...

Вся кровь в голову!.. Неизвестное!! Упоминается имя Ахвердовой... Много лет стремлюсь доказать, что Лермонтов знал эту женщину. И вот наконец:

Прасковья Николавна Ахвердова в майе сдает свой дом...

Подробно изучать буду после: впереди десятки, нет, сотни документов и писем! Неизвестно еще, что найду: Жуковский Василий

Милая Бабушка —

Такъ какъ время вашего
приѣзда подходитъ то
я уже ищу квартиру,
и карету видѣлъ да высока
Прасковья Николавна
Ахвердова въ маѣ сдаетъ
свой домъ, кажется онъ
будетъ для васъ годиться но
далеко. — лошади мои
вышли, башкирки, такъ
сносны что чудо, до петер-
бурга скажу — и приведу
она и не вспотѣли; а большую
парой особенно одной всѣ
любуются, — они такъ вы-
правились что ожидать нель-
зя было. — Лошадь у генерала
еще не купилъ а уже говорилъ
ему объ этомъ — онъ согласенъ.

Новое письмо Лермонтова.

Андреевич... Сообщает, как идет у него перевод «Одиссеи»... Дельвиг обращается к Кюхельбекеру:

Ты страшно виноват перед Пушкиным, он поминутно об тебе заботится... Откликнись ему, он усердно будет тебе отвечать...

1821 год. Пушкин в Кишиневе. Кюхельбекер уехал на службу в Грузию. Дельвиг стремится связать лицейских друзей.

...Полевой: благодарит Маркевича за согласие сотрудничать в «Московском телеграфе»... Станкевич: предлагает Максимовичу «три пьесы» для альманаха «Денница»... Надеждин: просит прислать ему материалы для «Одесского альманаха»... Катенин: поручает свои литературные дела Жандру... Чернышевский: после долгих лет ссылки обращается к Авдотье Панаевой... Шаляпин: сообщает Горькому об успехе в Париже оперы «Борис Годунов»...

Посерел и померк за окнами короткий актюбинский день, наступил и прошел вечер. Бурцева ушла ночевать к дочери. А я все еще, словно фокусник, продолжаю вытаскивать рукописи из этого, кажется, бездонного чемодана.

Да... Ольга Александровна не шутила, сказав, что стакан с чаем некуда будет поставить. Рукописи разложены на столе, на постели, на валиках дивана, на табуретках и просто на полу — на газетах... Здесь подлинные и большей частью неопубликованные автографы: Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Дениса Давыдова, Катенина, Кюхельбекера, И. И. Козлова, Дельвига, Баратынского, Веневитинова, Языкова, Хомякова, С. Т. Аксакова, Даля, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Курочкина, Тютчева, Полонского, Фета, Майкова, А. К. Толстого, Гончарова, Григоровича, четыре письма А. Н. Островского, четыре письма Льва Толстого, восемь писем Достоевского, тринадцать писем Тургенева, шестнадцать писем Горького, пятьдесят писем Чехова и автограф рассказа его «Великий человек», переименованного потом в «Попрыгунью». Здесь сорок два письма журналиста Греча к Фаддею Булгарину, девяносто одно письмо поэта Пальмина к Лейкину, пять писем Лескова, Писемский, Сухово-Кобылин, Гаршин, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк, Андреев, Брюсов, Блок, Есенин; композиторы: Чайковский (пять писем), Кюи, Рубинштейн, Направник (двенадцать), Глазунов, Танеев, Рахманинов; художники: Александр Иванов и Карл Брюллов, семнадцать писем В. В. Верещагина; письма актеров Мочалова, Каратыгина, Стрепетовой, Яворской, гастролировавших в России итальянских певцов и других заграничных знаменитостей; грамота за подписью гетмана Мазепы, указы Екатерины II, автографы Потемкина и Суворова, записки Павла I,

рескрипты Александра I, письма декабристов, письма генералов: Ермолова, Платова, Барклая де Толли, Дибича-Забалканского, Паскевича-Эриванского и многих других... Если бы я захотел перечислить все документы, мне пришлось бы назвать более пятисот имен великих и прославленных русских людей.

Передо мной лежала знаменитая коллекция Бурцева, которая исчезла из поля зрения исследователей и архивистов в тридцатых годах и считалась безвозвратно утраченной!

Судя по обращениям в письмах, можно было понять, что в основу ее легли документы из архива В. К. Кюхельбекера, из архивов позорно знаменитого Фаддея Булгарина, литераторов М. А. Максимовича и Н. А. Маркевича, писателя-юмориста Н. А. Лейкина, беллетриста А. А. Лугового, певицы П. А. Бартеневой, композитора Н. Ф. Соловьева, из коллекций доктора Л. Б. Бертенсона и переводчика Ф. Ф. Фидлера.

Трое суток я не ложился спать — все раскладывал этот необыкновенный пасьянс.

Наконец, когда работа была закончена и я, стуча зубами от усталости и волнения, зябко потирал руки, Бурцева спросила меня:

— Сколько вы насчитали?

Я отвечал:

— Здесь тысяча пятьсот восемь различных писем и рукописей.

— Да. Я тоже считала, и у меня получилось даже как будто немного меньше. Не откажите,— попросила она,— сообщить ваше мнение о коллекции моего отца, с которой вы познакомились, и охарактеризовать наиболее интересные вещи.

Я начал перечислять имена, называть особо замечательные автографы.

— Вас не затруднит сказать, чего здесь не хватает, по-вашему? — спросила Бурцева, когда я умолк.— Какие имена не встречаются в этой коллекции вовсе? Не возникает ли у вас ощущения пробелов?

Только долгое время спустя я понял, что беспокоило Бурцеву и почему мне был задан этот вопрос, ответить на который не так-то легко. Известно: труднее всего сказать, чего нет!..

— Здесь нет... м-м... сразу не сообразить как-то... автографов... Пестеля, Грибоедова... в копии представлен Рылеев... Кого еще нет?.. Стасова нет... Короленко... Из тех, что лежат возле зеркала,— тут у меня полководцы, — Кутузова и Багратиона. Да, вспомнил! Нет Глинки, Мусоргского, Бородина... А главное, Пушкина нет, к сожалению!

— Пушкин есть. Он у меня отложен!

С этими словами Ольга Александровна вынула из книги маленькую записочку на французском языке, адресованную Катенину, с просьбой одолжить денег. Две строчки.

— Вот. Дата «1-е апреля». И подпись «Pouchkin».

Тут мы подошли к самому трудному.

САМОЕ ТРУДНОЕ

— Если бы я решила уступить этот автограф архиву,— спросила Бурцева, обдумывая и осторожно взвешивая каждое слово,— в какой, по-вашему, сумме могла бы выразиться подобная передача?

Я не менее осторожно ответил:

— Это вам точно скажет закупочная комиссия при Литературном архиве.

— Нет! — мягко произнесла Бурцева.— Мне хочется услышать от вас хотя бы приблизительную оценку.

— Если это действительно окажется Пушкин (говорить надо было ответственно и по-деловому) ...если это окажется Пушкин, то за это могут заплатить,— стал я размышлять вслух,— чтобы не соврать вам... что-нибудь порядка... рублей, я думаю, пятисот...

— Неужели?

— Конечно, порядка пятисот... Ну, может быть, несколько меньше...

— Автографы Пушкина — величайшая редкость,— сказала Бурцева озабоченно.— Мой отец был крупным специалистом и знал цену таким вещам... Он очень дорожил этим автографом. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь. И как-то, простите, удивлена словами: «если это о к а ж е т с я Пушкин...» Вы, вероятно, уже убедились, что в коллекции, над которой я предоставила вам возможность трудиться, собраны только подлинные автографы. А вы — эксперт государственного архива — начинаете выражать сомнения. Если бы я не была в вас уверена, я могла бы подумать, что вы просто решили ввести меня в заблуждение... И вообще, я не совсем понимаю: если Пушкин идет за пятьсот, то в какой же цене остальные автографы? Лермонтов, скажем? Двести? Или, может быть, сто?

— Не менее тысячи.

— Это что? Ваше пристрастие? — Ольга Александровна говорит иронически.— Или другие тоже посмотрят так?

Ну конечно, не надо ей объяснять... Она и сама понимает, что содержательное письмо Лермонтова, заключающее в себе новые факты, ценнее незначительной записочки Пушкина. Но... Впрочем, она хотела бы прежде всего выслушать мое мнение о каждой рукописи отдельно.

Дело сложное!

Передо мной лежали документы, научное значение которых одному человеку известно быть не могло. Разве я специалист по военной истории? Или, даже и зная литературу, мог ли на память сказать, какие письма Чехова опубликованы полностью, какие с купюрами?

Перед отъездом в Актюбинск я, разумеется, спрашивал в архиве, во сколько оценивать автографы Гоголя, Тургенева, Достоевского,



Актюбинск.

Чайковского, Чехова — те, о существовании которых в коллекции Бурцева знал. Но разве мог я предвидеть, что нападу на такую пропасть бумаг!

Приходилось цены определять приблизительно: «от» — «до». «От» иной раз казались Ольге Александровне маловаты. «До» беспокоили меня. Назову, а сам сомневаюсь: что скажут в Москве? «Наобещал! Увлекся! Завысил!..»

Впрочем, Ольга Александровна и здесь проявляла сдержанность, разговаривала любезно и просто, сомнения выражала в вопросительной форме, удивленно приподняв брови. Если я начинал убеждать ее, что больше никак не дадут, отвечала, подумав:

— Вам виднее.

— Очевидно, нам будет удобнее разговаривать,— сказала она наконец,— если вы предварительно составите опись. И лучше бы в двух экземплярах. Один возьмете с собой. Другой останется у меня. На случай возможных недоразумений.

Это был дельный совет.

В тот же час я принялся за работу.

НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Склонив голову несколько набок, как Чичиков, сгибаясь, прищуриваясь и подмигивая себе самому, словно Акакий Акакиевич, трудился я над составлением первого каталога коллекции, отмечая, где копия, где автограф, а если письмо, то от кого и кому, дату, число страниц.

Время быстро пошло. Москва стала окутываться для меня туманом воспоминаний.

По окончании описи каждое письмо и записку пришлось пробежать глазами, против каждого номера выставить предположительную оценку. После этого Бурцева взяла счеты. И записала итог. Он выражался в солидной сумме из четырех нолей, а впереди стояла хотя и не последняя цифра из девяти, но далеко и не первая.

Предварительное изучение коллекции — на дому у владелицы — можно было считать законченным. Тут Ольга Александровна стала собираться к нотариусу, чтобы оформить доверенность.

— Зачем? Мне неудобно,— возражаю я ей.— Я представляю интересы архива.

— Не отказывайтесь,— советует Бурцева.— Вы возьмете с собой чемодан. И вас и меня это вполне устроит. У меня нет сомнений,— говорит она, улыбаясь,— что вы все равно будете защищать в Москве мои интересы.

— Тем не менее вам следовало бы поехать самой.

— Не могу. Я человек служащий. Ни с того ни с сего — и вдруг еду.

Я предлагаю походатайствовать о предоставлении ей отпуска. Нет, это ее не устраивает. Уехать она не может по разным причинам.

— Кого же уполномочить? — размышляет она.— Знакомых у меня в Москве нет.

— Дайте доверенность дочери. Ей двадцать три года. Она юридически правомочна.

— Рине? Но у Рины ребенок! Мальчику третий годик.

— А свекровь? Мальчик побудет без матери полторы-две недели,— подаю я совет.— Покупка должна быть оформлена до двадцатого декабря. Иначе срежут ассигнования. Двадцать третьего можете Рину встречать.

— Боюсь, ничего не получится!

— Остановится Рина у нас,— продолжаю я уговаривать.— От имени нашей семьи я зову ее в гости. И даже проезд оплачу.

— Только в долг,— решительно ставит условие Бурцева.— Из полученных денег она все вам вернет... Ладно,— сдается она.— Как-нибудь выйдем из положения. Рина! — зовет она дочь.— Тебе придется поехать в Москву. Иди собирайся. Если ты поторопишься, вы успеете к ашхабадскому. А я тем временем пойду оформлю на твое имя доверенность.

Рина согласна. За сыном посмотрит свекровь, по вечерам Ольга Александровна будет брать его к себе в комнату. Все устроилось. Едем.

Но, прежде чем оставить Актюбинск, надо сказать наконец, откуда взялась и как попала туда эта удивительная коллекция.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ, КАК ПОПАЛА?

Жил в свое время в Петербурге богатый коллекционер из купцов Александр Евгеньевич Бурцев. Собирать он начал давно — еще в конце прошлого века. Собирал все: редкие книги, журналы, газеты, иллюстрированные издания, картины, лубок, литографии, исторические документы, автографы. Малыми тиражами выпускал на свои средства описания этих коллекций. Характер собирательской деятельности А. Е. Бурцева хорошо раскрывает заглавие одного из таких изданий: «Мой журнал для немногих или библиографическое обозрение редких художественных памятников русского искусства, старины, скульптуры, старой и современной живописи, отечественной палеографии и этнографии и других исторических произведений, собираемых А. Е. Бурцевым. СПб., 1914».

Публиковал Бурцев не только «обозрения», но и самые документы, а иногда полностью тексты принадлежавших ему редких книг. Так, скажем, он дважды перепечатал в своих изданиях радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», которое царская цензура жестоко преследовала со дня выхода в свет этой книги вплоть до 1905 года. Среди бурцевских материалов, которые печатались крохотным тиражом, в сто — сто пятьдесят экземпляров, эти перепечатки прошли, не задержанные цензурой. О них напомнил несколько лет назад в своей книге крупнейший советский библиофил Николай Павлович Смирнов-Сокольский, Народный артист, отметивший также, что издавались «описания» и «обозрения» Бурцева довольно беспорядочно и неряшливо. Это понятно: научная сторона дела не очень интересовала его.

Собирал Бурцев много и широко, не жалел ни времени, ни трудов, чтобы раздобыть уникальную книгу или гравюру, скупал полотна молодых, подававших надежды художников, архивы писателей — знаменитых, незнаменитых, умерших, живых,— их долговые обязательства, расписки, семейные фотографии... Все шло в дело!

В начале двадцатых годов попал к нему сундук с бумагами Кюхельбекера. Когда в 1925 году вышел в свет роман Юрия Николаевича Тынянова «Кюхля», бóльшая часть содержимого этого сундука перекочевала к Тынянову: Тынянов, занимавшийся Кюхельбекером с юных лет, смог выяснить подлинное его значение, издал его сочинения, впервые открыл его читающей публике как большого поэта.

Но перешел архив Кюхельбекера к его страстному исследователю и биографу не весь и не сразу. А переходил по частям в продолжение нескольких лет. Помню, Тынянов приобрел часть кюхельбекерской тетради, затем — начало ее и, наконец, долго спустя — недостающие в середине листы. Впрочем, прежде в среде коллекционеров дробление рукописей считалось делом обычным. Даже такой известный литератор, как Петр Иванович Бартенев, один из первых биографов и почитателей Пушкина, издатель исторического журнала «Русский архив», отреза́л от принадлежавших ему автографов Пушкина узкие ленточки — по нескольку строк — и расплачивался ими с сотрудниками. Об этом рассказывал знавший Бартенева лично пушкинист Мстислав Александрович Цявловский. В наше, советское время все эти обрезки встретились вновь в сейфе Пушкинского дома — Института русской литературы Академии наук СССР. Так что в смысле обращения с рукописями Бурцев, смотревший на них, как на предмет продажи или обмена, среди собирателей исключения не составлял. Но по количеству и качеству прошедших через его руки автографов это был коллекционер исключительный, один из крупнейших в России.

Его хорошо знали исследователи литературы, жившие в Ленинграде, знали историки. Мне лично не довелось с ним встретиться. Но в пору, когда я жил в Ленинграде, приходилось много слышать о нем от людей, хорошо с ним знакомых.

В двадцатых годах многие материалы из собрания Бурцева поступили в Пушкинский дом, в Ленинградскую Публичную библиотеку, позже — в Московский литературный музей...

В 1935 году Бурцевы переехали в Астрахань, забрав с собой коллекцию. Три года спустя Бурцев умер. Умерла и жена его. Ольга Александровна, жившая с ними в Астрахани, осталась с двенадцатилетней дочерью Риной одна. Теперь коллекция перешла в ее собственность. Понимая, что это огромная ценность, она, хотя и нуждалась в деньгах, решила во что бы то ни стало ее сохранить. Но в 1941 году, когда гитлеровские войска подходили к Ростову, ей пришлось срочно эвакуироваться. Эшелон шел в Актюбинск. Увезти с собой коллекцию она не могла. И оставила ее в доме, из которого принуждена была выехать. Тут было уже не до рукописей!

Время шло. Живя в Актюбинске, она с тревогой думала о коллекции, брошенной на произвол судьбы. И в 1944 году решила послать за ней Рину, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет.

Рина приехала в Астрахань и сразу пошла туда, где они жили прежде. Хозяева квартиры не претендовали на чужое имущество: коллекция с 1941 года лежала на чердаке, по-астрахански — на «подловке».

Рина поднялась на чердак. В светелке под крышей лежала на полу груда рукописей. Девушка набила бумагами большой чемодан. Потом занялась ликвидацией кое-какого имущества. Закончив дела, повезла чемодан в Актюбинск. Мать приняла его, поставила в угол,

на него поставила еще два чемодана и маленькую корзиночку, накрыла их скатертью и стала подумывать о том, как приступить к реализации этих сокровищ. Актюбинское областное архивное управление с самого начала показалось ей недостаточно мощной организацией. Тогда она решила обратиться с предложением в один из московских архивов. Доктор Воскресенский собирался в Москву. Она попросила его прощупать почву в столице, а по поводу лермонтовского письма связаться со мной — ей как-то попалась на глаза в «Огоньке» одна из моих работ. Воскресенский в Москве завел разговор в доме одного академика. Там было названо мое имя. Таким образом находка пришла ко мне сама, без всяких с моей стороны поисков и усилий... Остальное вы уже знаете.

ПАССАЖИР ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Рина оделась, стоит с чемоданчиком, в валенках, и в пальтишке, прижимая подбородком заправленный в ворот белый оренбургский платок. Это заставляет ее, слушая разговор, скашивать глаза попеременно то на меня, то на мать. Взгляд у нее карий, живой. Приятный овал лица, легко розовеющая кожа. У матери лицо спокойнее, строже. У дочки есть что-то остренькое, чуть напряженное, хотя черты правильные, даже красивые. Но выражение лица заключено не в чертах, а в «поведении» лица. А жизнь лица соответствует разговору — в данном случае удивленно-наивному.

Рина прощается с матерью. Я в последний раз заверяю, что это дело недолгое. Можно ехать!

...Пыхтя, переступая криво и мелко, мы с Риной волочим вдоль вагонов тяжеленный чемодан с полутора тысячами рукописей, поминутно перехватывая другой рукой «свои» чемоданы, и наконец останавливаемся возле жесткого бесплацкартного: об удобствах нужно было думать заранее. Места в поездах, проходящих через Актюбинск, бронируются по телеграфу. Напрасно, расстегнувшись, лезу я в глубину пиджака.

— Нет мест, идите в другой... Гражданин, теряете время!

Но тут пассажир, стоящий в лютую стужу возле ступенек без шапки и в кителе, сгорбившись и запустив руки в карманы штанов до самых локтей,— пассажир дрожащий и посиневший, однако верный своей привычке выходить из вагона в чем есть,— вступил в разговор.

Люблю пассажира-общественника — любознательного, дельного, справедливого; пассажира, который первым соскакивает на платформу и последним входит в вагон уже на ходу; который знает всегда, какая впереди станция, который охотно укажет вам на новый завод в степи, обратит внимание на новую марку машин, мелькающих под брезентом на открытых движущихся платформах... Он же первый в

вагоне шутник, балагур и рассказчик. И все-то знают его, все на него смотрят с улыбкой, беспокоятся — не остался ли? А он тут как тут, душа-человек, любимец всего вагона! На коротких дистанциях такому пассажиру не развернуться. И потому встречается он в поездах только дальнего следования.

— Как же в другой, когда в наш вагон? — наставительно обратился он к проводнице.— Давай этих двоих посадим! Тем более, что один пассажир — девушка! Передайте сюда чемоданчик,— вот тот, здоровый!

И, схватив заветный — с коллекцией,— поставил его на площадку.

Я сделал попытку вернуть чемодан на платформу:

— Не надо, скоро алма-атинский проходит...

— Не трогай, хозяин,— пригрозил коченеющий.— Девушка, подымайтесь!

Рина взбежала.

— Равняйся на лучших! — И он подпихнул меня на ступеньку.

Подножка поплыла, заскользили колеса... Он некоторое время шел рядом с вагоном, стуча зубами, потом ввинтился на поручне и, вступив на площадку, назвался Павлом Василичем. В вагоне быстро обнаружил резервы площади, Рине уступил вторую полку, сам полез на багажную. А я уселся на краешке скамьи у прохода и стал пасти чемоданы.

Не часто случается, чтобы рукописи великих людей, да еще в несметном количестве, транспортировались в таких неподходящих условиях! Подумать! Чуть не на цыпочках входите вы в помещение архива, шепотом просите выдать для изучения рукопись. Чуть не на цыпочках вам выносят ее — «единицу хранения» — в папке, с инвентарным номером, переложенную тонкой бумагой. Расписавшись в ее получении, затаив дыхание, вы не берете ее, а касаетесь. Пальцы ваши становятся перстами — сухими и легкими. Пролистав со всеми предосторожностями, вы наконец сдаете ее. И понесли ее бережно снова в хранилище, которое в шесть часов вечера запрут, запломбируют и опечатают, придавив сургучом суровую нитку.

Какие там нитки и сургучи! Я поставил бурцевский чемодан «на попа» в проходе между скамейками, ел на нем суп, пил на нем чай да еще приговаривал:

— Ноги затекли из-за этого проклятого чемодана! Хоть бы его украли!

Мне казалось, что пренебрежение к нему — лучший способ предохранить его от случайностей, рассказами о которых то и дело угощал меня Павел Василич.

— Вот недавно,— начинал он, свешиваясь с верхней полки,— у одного чемодан обменяли. Ночью подъезжают к Свердловску — сосед схватился: «Мне выходить!» Пошел — с чужим чемоданом. А свой — перепутал — оставил. Тот глядит утром: «Не мой!» Открыли — там



ЦГАЛИ, хранилище рукописей.

коробки круглые, с кинокартиной, исключительной ценности. А у него что было? Курица, вещи — это неважно! А главное, диссертация! «Четыре года работал над ней. Все, говорит, мне дальше незачем ехать. В Казани схожу, еду обратно, я этого раззяву найду!» А начальник поезда: «Не советую. Вы его потеряете хуже. А так вас в Москве встречать будут. Ему тоже от вашей диссертации радости мало». И что же вы думаете? Прибывает поезд в Москву — подходят: «Не вы кандидатскую пишете?»

Наслушаюсь я этих рассказов — гляжу... Нет, бурцевские богатства на месте!

КОНЕЦ БЮДЖЕТНОГО ГОДА

Так, обмениваясь разными «случаями», доехали мы до Москвы, а там и до дома. Звоним. Открывают:

— Наконец-то! Что ты так задержался?

Я радостно:

— Познакомьтесь: это Рина — дочь Ольги Александровны Бурцевой. Она будет теперь жить у нас.

— Так ведь ты же ездил за рукописями?!

— И рукописи привез!

— Ну, молодец! Поздравляю! Здравствуйте! Как ваше отчество?

Передислоцировались. Устроили Рину. После этого я сел разбирать неразборчивое, читать недочитанное. Замелькали короткие серые дни — декабрь, конец года.

Наконец изучение закончилось, и поехали мы с Риной в Литературный архив — повезли знаменитый чемодан на такси.

Если даже предварительный список, сообщенный доктором Воскресенским, список глухой и неполный, и тот произвел в архиве, как говорилось, впечатление неслыханное, то появление чемодана следовало отнести к чрезвычайным событиям.

Я поднял крышку... Это сопровождалось покорными просьбами не тянуть; достал первые листки — послышались разные «Ух, ты!..», «Скажите...», «Шибко!», «Да-а...», «Съездил!..» и прочие глаголы, частицы и междометия, которые куда лучше пространных речей выражают настроения восклицателей.

Я стал метать на столы автографы самые редкие, называть самые звучные из самых знаменитых фамилий... Исторглись возгласы одобрения, вопросы:

— Это что же? Полная бурцевская коллекция?

— Полная,— горделиво отвечал я.— Вся. До последней бумажки.

Сперва коллекцию смотрел начальник архива. Потом — его заместитель. Потом — начальник начальника. Затем — эксперт по оценке. После него — другой. Наконец они оба вместе. После этого стала известна предварительная оценка, которая выражалась в сумме, заключавшей четыре ноля, а впереди цифру, среднюю между девяткой и единицей. После этого собрали Научный совет. И тут каждый начал интересоваться не только тем, что составляет его специальность и предмет его изучения, но и решительно всем. Так, знаменитый наш пианист профессор А. Б. Гольденвейзер просматривал письма Льва Николаевича Толстого, которого близко знал, и в то же время держал руку на письмах Рахманинова — с ним он вместе учился. Профессор Иван Никанорович Розанов, собравший в своей библиотеке пять тысяч стихотворных сборников, и тут прежде всего стал интересоваться стихами. И решительно все — музыканты, историки, архивисты — подтверждали ценность коллекции, отдавая должное опыту Бурцева. Только в одном автографе Бурцев ошибся: все подлинно в автографе Пушкина — и бумага, и дата, и подпись «Pouchkin». Только Пушкин не тот. Не Александр Сергеевич, а брат его — Лев. Необычайно похожий почерк.

Плохо было, однако, то, что, пока шли ознакомления и обсуждения, оценки, переоценки, бюджетный год подошел к концу. И средства, отпущенные на покупку коллекции, срезали.



Москва. Пироговская, 17. Главное архивное управление.

Тогда мне сказали:

— Поскольку дочь Бурцевой гостит у вас, передайте ей, что оформление задерживается и что оплатить покупку мы сможем только в новом году, после того как нам утвердят смету. А пока пусть едет в Актюбинск. Мы ее вызовем. Это будет в марте или апреле.

Я приехал домой и сказал:

— Покупка несколько задержалась, Рина, поэтому пока поезжайте в Актюбинск. Они вас вызовут. Это будет... в январе или в феврале.

Даже и сейчас, по прошествии долгого времени, без всякого удовольствия вспоминаются дни, когда я ходил виноватый в том, что не заплатили, испуганный, что не скоро заплатят. Со дня приезда в Москву прошли две недели, и три... Рина скучала, ходила в кино, беспокоилась о ребенке и о коллекции, напоминала мои обещания: «Двадцать третьего будете дома». Из Актюбинска шли телеграммы.

Все это было невесело!

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ СОБЫТИЙ

Прошло несколько дней. В ЦГАЛИ опять многолюдно. В вестибюле докуривают, обмениваются рукопожатиями, вежливо уступают — кому первому войти в двери зала. В зале расспросы, приветы, шутки, тут же, на ходу, обсуждение важных дел:

— ...на конференцию в Харьков...

— ...ставьте вопрос — мы поддержим...

— ...продавалась в Академкниге...

— ...почерк очень сомнительный...

— ...такие уже не носят...

Звонок. Начальник архива, упираясь ладонями в стол, объявляет:

— На повестке — отчет отдела комплектования о поступлениях последнего времени. Докладчик — товарищ Красовский. Юрий Алексанч, прошу...

К трибуне быстро и бодро идет, приосанившись, средних лет человек с внешностью декабриста: серьезное, благодушное выражение лица, бачки, в черной оправе очки.

Говорит интересно и обстоятельно, перечисляет новые рукописи, часть которых в научный оборот или входит, или уже вошла. Но о бурцевских материалах — ни слова.

Наклоняюсь к уху начальника:

— Почему он про бурцевские не говорит?

— Да за них еще не заплачено...

— А вы что, хотите от них отказаться?

— Ни в коем случае! Какой может быть разговор!

— Тогда я скажу о них.

— Дело ваше... Может быть, в следующий раз, когда все будет оформлено?

Но какое отношение имеет бухгалтерский документ к самому факту архивной находки? И когда начинается обсуждение доклада, беру слово и объявляю о том, что обнаружилось в актюбинском чемодане.

Не успел кончить — из зала идут записки; поднимается Василий Александрович Киселев — профессор, музыковед, один из деятельнейших работников Музея музыкальной культуры.

— Простите,— обращается он ко мне,— кому адресованы письма Чайковского, обнаруженные в этой коллекции?

— Два из них,— отвечаю,— обращены к какому-то Павлу Леонтьевичу и относятся к 1892 году, другие...

— Спасибо! А письма композитора Львова?

— Письма Львова, насколько мне помнится, адресованы певице Бартеневой.

— О, это важные сведения! Вам, вероятно, будет интересно узнать, что в Астраханской картинной галерее имеются письма Чайковского к тому же Павлу Леонтьевичу (фамилия его Петерсон), а также неизвестные письма Михаила Ивановича Глинки, и — что в данном

случае важно! — к той же певице Бартеневой. Очевидно, актюбинские и астраханские материалы как-то связаны между собой! Мне кажется, вам следует это проверить.

— Простите,— спрашиваю в свою очередь я.— А как они попали в Астраханскую галерею, письма, о которых вы говорите?

— Мне объясняли,— отвечает Киселев,— только я уже точно не помню. По-моему, в Астрахани умер какой-то старик, родственники его не то погибли во время войны, не то куда-то уехали — словом, это поступило в Астраханский музей в военное время и куплено чуть ли не на базаре.

КОРЗИНА, О КОТОРОЙ НЕ ГОВОРИЛИ

Кончилось заседание. Приезжаю домой. Дверь открывает Рина. Кутается в оренбургский платок, угасающим от долгого ожидания голосом спрашивает:

— По нашему делу ничего нового нет?

— Есть,— говорю.— С вашей помощью попал сегодня в очень неловкое положение.

— В неловкое? А я тут при чем?

— При том, что со слов Ольги Александровны и с ваших я уверяю всех, что коллекция передана вами полностью, а вы, оказывается, продали часть документов в Астрахани.

— Да что вы мне говорите! Никаких документов не продавали! Уж я-то знаю! — Рина возмущена.

— Ну, значит, Ольга Александровна поручила кому-то продать. Чудес не бывает: ваши рукописи попали в Астраханскую картинную галерею.

— Каким же образом? Господи! — Она чуть не плачет.— В первый раз слышу! Рукописи? Это значит — кто-то взял и продал без нас. Подлость какая!..

— Постойте,— прошу.— Давайте говорить по порядку. Я ничего не пойму. Рукописи в Актюбинске, а вы говорите, что кто-то взял их у вас... И что же? Повез продавать в Астрахань?

— Да вы никак не поймете, потому что не знаете толком: у нас половина архива осталась на подловке в Астрахани.

— Так вы же ездили и целый чемодан привезли?!

— Ну да... чемодан — привезла. А там еще куча целая оставалась. Я чемодан-то набила, а с этими что делать — не знаю. Взяла корзину — мама раньше белье в ней держала — и туда все! Если с сорок первого, думаю, пролежало три года, что может случиться? Не могла же я еще и корзину забрать! Я и с чемоданом намучилась: вы знаете, какой он тяжелый. Холод! В вагон не протиснешься. Время военное. А у меня две руки только... Как уезжать из Астрахани, я подругам

кое-что раздала. Дневник писателя Лейкина Гена один взял читать. А теперь ругать себя готова: надо было передать на хранение людям все, до последней бумажки. Кто бы подумать мог! Глупость такую сделала.

— А что было в корзине, не помните?

— Господи! — Рина взмолилась.— Вы странный какой! Ну откуда я могу помнить, когда мне и посмотреть как следует было некогда! И я же не специалистка. К тому же еще девчонка была — девятнадцатый год. Что там осталось на подловке? Рукописи, ноты от руки переписаны... Письма... Скрябина нет в чемодане?.. Там, значит!.. Петра Первого пачку бумаг, жалею, туда положила. Ноты композитора Чайковского... Вот что точно запомнила: Чехова письма там были.

— Нет, Чехова,— говорю,— вы в чемодан положили,— пятьдесят писем к литераторам Баранцевичу, Лейкину... По-моему, вы ошибаетесь.

— Ошибаюсь? Да вы знаете, сколько у дедушки Чехова было? Связка огромная. Чего же, думаю, я маме одного Чехова повезу? Разделила пачку: что — в чемодан, остальное — в корзину: ведь все равно наша. Если б я могла тогда знать... Теперь я очень и очень жалею.

Конечно, если представить себе условия, в которых пришлось оставить эту коллекцию в Астрахани, упрекать Бурцевых не за что. Как могли они в 1941 году увезти с собой тяжеленную корзину с бумагами?!

В продолжение всей войны Ольга Александровна беспокоилась о коллекции, при первой возможности послала в Астрахань дочь, чтобы спасти собрание отца. Поручила ей привезти самое ценное. И та привезла, что смогла. Наконец, без всяких с чьей-либо стороны побуждений владелица сама заявила о желании передать коллекцию в государственное хранилище. Казалось бы, сделано все. И сделано правильно.

И тем не менее нельзя успокоиться при мысли, что уникальные документы остались на чердаке без присмотра и, возможно, частично пропали. Ведь если бы в 1944 году все, чего нельзя было с собой увезти, Рина передала в картинную галерею, бумаги были бы целы!

— Почему же вы не обратились в музей, когда стало ясно, что всего с собою не увезете? — спрашиваю Рину.

Но к чему это я говорю? Что она может сделать теперь?

— Право, вы со мной беседуете, как с маленькой,— отвечает Рина с улыбкой обиженно-снисходительной.— Слава богу, сына воспитываю... А поскольку коллекция составляет нашу личную собственность, сами понимаем, куда нам с ней обращаться и кому доверять!..

Сказала и молча смотрит в окно, румяная от волнения.

ЕЩЕ СОРОК ДЕВЯТЬ

Поехал в Союз писателей, нацарапал письмо с отчетом о поездке в Актюбинск и с просьбой командировать меня в Астрахань.

Генеральным секретарем Союза был в ту пору Александр Александрович Фадеев. Письмо попало к нему. Когда на заседании секретариата дело дошло до меня, Фадеев предложил удовлетворить мою просьбу. Об этом сказал мне Николай Семенович Тихонов — я звонил ему, с тем чтобы повидаться.

Условились.

В тот же вечер я отправился к Тихоновым.

У них, как всегда, народ. За чаем зашел разговор об Актюбинске, о решении секретариата; я долго упрашивать себя не заставил и регламентом ограничивать не стал. Только, рассказывая, все удивлялся: Тихонов слушает спокойно, а то вдруг словно спохватится — начинает улыбаться, раскачивается от беззвучного смеха. А я, кажется, ничего смешного не произнес.

Когда же наконец, изрядно наговорившись, добрался я до конца и сообщил, что на днях уезжаю в Астрахань, Тихонов продолжал, уже не скрывая улыбки:

— А прежде чем ехать, позвони Нине Алексеевне Свешниковой. Она сообщит тебе конец этой истории.

— Какой истории?

— Той, что ты рассказывал сейчас.

— А что такое?

— Позвони в Союз художников и узнаешь. Она была сегодня у нас: услышав, что ты собираешься в Астрахань, она просила тебе передать, чтоб ты не уезжал, не поговорив с ней. Она в курсе всего, что касается картин из коллекции Бурцева.

— Картины? А что с картинами?

— Их там продавали и покупали... Впрочем, она тебе все расскажет. А после этого ты подробно расскажешь нам.

Непостижимо! Если такое написать в повести, скажут: так не бывает. А между тем жизнь, при всей закономерности в ней совершающегося, полна подобных случайностей. Ведь если бы Тихонов не присутствовал на секретариате и Свешникова не зашла бы к нему, а он не упомянул бы о моей предстоящей поездке,— я уехал бы в Астрахань, не выяснив что-то важное. Может быть, не придется и ехать?

— Да, торопиться, во всяком случае, некуда. Картины и рисунки из коллекции Бурцева еще во время войны растащены какими-то бойкими субъектами, а частично распроданы.

Я в Союзе художников — у Нины Алексеевны Свешниковой. У нее озабоченный вид: приходится сообщать такие скверные новости. Но лучше сперва выяснить обстоятельства здесь, на месте, а потом уже ехать, не правда ли?

— В Москве скоро будет астраханский художник Скоков Николай

Николаевич, от которого, собственно, у нас в Союзе художников и узнали эту историю. Подождите его, посоветуетесь. Но, насколько я понимаю, на чердаке уже ничего нет. А что касается автографов, которые поступили в Астраханскую галерею, то это можно выяснить сегодня же: для этого ни в какую Астрахань ездить не надо. Я сейчас позвоню в министерство Антонине Борисовне Зёрновой — это отдел музеев...

Позвонила. В художественную галерею Астрахани переданы в 1944 году хранившиеся в коллекции Бурцева письма: Стасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина (три записки), Достоевского, Гончарова, Полонского, Майкова, Мея, Чехова (пять писем), Короленко, французских писателей — Альфонса Доде и Поля Бурже, тринадцать неизданных писем Михаила Ивановича Глинки (о которых говорил мне опубликовавший их вскоре В. А. Киселев); письма композиторов: Варламова, Львова, Балакирева, Кюи, Чайковского (два письма), Рубинштейна, Аренского, Скрябина — целых сорок девять автографов! Немало! Но все же в тридцать раз меньше, чем хранилось в Актюбинске. И — страшно подумать! — какая это малая часть того, что оставалось в злополучной корзине!

Повез я этот список в Гослитархив. Оттуда пошла в министерство бумага с ходатайством о передаче астраханских материалов в Москву. Если не знать про корзину, можно бы радоваться. А тут одни огорчения.

БУМАЖНЫЙ ДОЖДЬ

Прихожу домой.

— Рина! Кому вы продавали рисунки?

Выясняется, что продавала военному Володе, который приезжал в Астрахань из армии после ранения и снова уехал в часть. Он художник.

— Потом Розе: у нее не то армянская, не то грузинская фамилия. Еще одному художнику — пожилому. И подслеповатый ходил. Первый явился мужчина в летах. Совсем недавно помнила их фамилии, а сейчас... что ты скажешь?!

...Приехал Скоков — хороший художник-график и человек очень милый. Но сведения, которые он сообщает, ничего хорошего не сулят. Все подтвердилось: и про базар и про расхищенные автографы.

В сорок четвертом году на астраханском базаре стали появляться куски картона, на обороте которых можно было увидеть писанный маслом пейзаж, эскиз фигуры, головку... Приносила картоны старуха. Однажды в картинную галерею притащил с базара пачку рисунков начинавший в ту пору художник Архипов. Директором галереи в то время был старейший астраханский художник Алексей Моисеевич

Токарев. Вещи заинтересовали его. Выяснилось, что они попадают на базар с улицы Ногина.

Старый художник пригласил с собой Скокова, и пришли они к Рине. На веранде, где она укладывала вещи, «шел дождь бумажный». Под ногами валялись переплеты без книг, книги без переплетов, старые газеты, автографы... Скоков запомнил: автографы Репина, поэта М. Кузьмина, Григория Распутина, альбомы с рисунками Шишкина, рисунки Брюллова, Афанасьева и Лукомского. Узнав, что картин и рисунков Рина с собой не берет, Токарев предложил принять их на сохранение. Рина не решилась без матери. Сам Скоков корзины не видел, но слышал о том, что объемистая и что Рина сложила туда все то, чего не могла увезти.

После ее отъезда Токарев снова побывал в доме, но корзины не обнаружил — только отдельные рисунки и рукописи, которые и попали через него в картинную галерею. По словам Скокова, Рина пользовалась советами компании, с которой ходила в кино. Были там, кажется, неплохие девушки и ребята, но посоветовать дельного они не смогли. А кое-кем руководили и корыстные интересы.

— Какую-то часть бурцевского имущества,— предполагает Скоков,— можно найти. Еще недавно в Товарищество художников приносили рисунки и книги из коллекции Бурцева. Надо ехать вам в Астрахань, не откладывая. Вы у нас не бывали? Нет? Ну, тем более... Город у нас хороший! Ждем...

Благодарю, обещаю.

— Ну, а когда?

— Как только покончу с актюбинскими делами — и к вам.

ПО СОВЕТУ КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ

Тем временем в архивных кругах стали вдруг поговаривать, что Бурцевы не столько сохранили коллекцию, сколько растеряли ее и платить им, собственно, не за что.

Разговоры эти так разговорами и остались. Такой подход к делу не соответствовал интересам нашей архивной политики, а главное — советским законам. При покупке оплачивается, как известно, не хранение, а стоимость вещи.

Прошел Новый год. Рина вернулась в Актюбинск. Но рано или поздно дело должно было окончиться оформлением взаимоотношений между владелицей и архивом. Тем и кончилось.

Это было уже весной. В Москву вместо дочери приехала сама Ольга Александровна Бурцева. По существу вопрос был решен. Через несколько дней она получила сумму, на которой остановилась оценочная комиссия, и, будучи ограничена временем, поспешила воротиться в Актюбинск. Она простилась по телефону. И больше я их не видал.

В руках моих осталась доверенность Бурцевой на случай поездки в Астрахань. В этом документе поименованы шкаф и шкафик, дамский письменный столик, кровать, пуховая перина и лампа на винтовой ножке; все остальное уместилось в двух строчках: «имущество, заключающееся в рукописях, письмах, книгах и картинах из коллекции покойного отца».

На этот раз доверенностью можно было воспользоваться: интересы обеих сторон — владелицы и архива — совпали. Надлежало найти утраченные бумаги.

Но как? Каким способом? Приехать в незнакомый город и начать ходить по квартирам?

Трудно искать даже в том случае, когда знаешь, где надо искать. Трудно искать, когда знаешь, что ищешь. А как поступить в данном случае, когда я не знаю ни списка бурцевских материалов, ни фамилий людей, которые их покупали? Тут надо было что-то придумать...

Но думать мне не пришлось: это сделали за меня другие. Случилось это вот как.

Когда бурцевские материалы были внесены в описи ЦГАЛИ, «Литературная газета» поместила о них информацию. После этого все меня стали расспрашивать, откуда взялась коллекция, и как попала в Актюбинск, и чьи автографы обнаружены в ней, кроме тех, что перечислены в «Литературной газете».

Выступая с исполнением своих рассказов, я, между прочим, знакомил публику и с этой историей. Как-то раз в конце вечера мне передали за кулисы нацарапанную на входном билете записку:

«Мы, трое комсомольских работников, прослушав ваш отчет о командировке в Актюбинск, хотим посоветовать вам при дальнейших поисках в Астрахани обратиться к помощи пионеров».

Этим мудрым советом я и воспользовался.

В СЛАВНОМ ГОРОДЕ АСТРАХАНИ

Отъезжая в Астрахань, перелистал справочники, библиографии, почитал «литературу предмета» и перебрал в памяти решительно все, начиная с народных песен о том, как «ходил-то гулял всё по Астрахани» Степан Тимофеевич Разин и как «во славном городе Астрахани проявился добрый мо̀лодец, добрый мо̀лодец Емельян Пугач».

Поселившись в Астрахани в «Ново-Московской», вставал на рассвете, «домой» возвращался к ночи: по асфальту обсаженных липами улиц бегал на Кутум, на Канаву, на Паробичев бугор, в район Емгурчев, на улицу Узенькую, на улицу Володарского, которая раньше называлась Индейской. Названия какие! На Индейской в XVII веке стоял караван-сарай индийских купцов. Как не вспоминать тут исто-



Астрахань. Советская улица.

рию на каждом шагу: Золотую Орду, падение Астраханского ханства перед войском Ивана Грозного, изгнание восставшими астраханцами Заруцкого с Мариною Мнишек, вольницу Разина, приверженцев Пугачева, персидский поход Петра?! Здесь умер и похоронен грузинский царь Вахтанг VI — поэт и ученый, обретший в петровской России политическое убежище, и другой грузинский царь — Теймураз II. Два года провел здесь А. В. Суворов, родился И. Н. Ульянов — отец В. И. Ленина, побывал Т. Г. Шевченко, прожил пять лет возвращенный из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевский. Земляк астраханцев — замечательный русский художник Б. М. Кустодиев. Рассказ «Мальва» Горького связан с его пребыванием в Астрахани. В годы гражданской войны Астрахань выстояла под натиском белых: с гордостью произносится в городе благородное имя Сергея Мироновича Кирова, руководившего героической обороной.

Здесь долго играл актер удивительной силы П. Н. Орленев. Отсюда родом народные артисты В. В. Барсова, М. П. Максакова, Л. Н. Свердлин.

В Астрахани ценят искусство. Издавна славилась она художественными коллекциями. Знаменитая картина Леонардо да Винчи в

собрании Эрмитажа, известная под названием «Мадонна Бенуа», в свое время была куплена в Астрахани.

Здесь есть чем заняться историку, есть что искать ученому-следопыту: имеются сведения, что именно в окрестностях Астрахани в 1921—1922 годах в последний раз видели древний — XVI века — список «Слова о полку Игореве», принадлежавший до революции Олонецкой духовной семинарии, а потом находившийся в руках преподавателя семинарии Ягодкина.

Говоря об Астрахани, как не сказать о рыбе, о нефти, о соли; я побывал в порту, на рыбоконсервном комбинате. Но станешь рассказывать — скажут: «Отдалился от темы». Потому обращусь к цели своего путешествия.

Прежде всего явился в отдел культуры облисполкома, затем отрекомендовался в редакции газеты «Волга». Посоветовано встретиться с астраханской интеллигенцией, провести беседы с читателями районных библиотек, напечатать статью о бурцевских материалах, выступить в воскресенье по радио. Идея привлечь пионеров одобрена. План архивных поисков разработан самый широкий. Обещана помощь.

Отыскал воспитанницу Саратовского университета — литературоведа Свердлину Софью Владимировну. Вручил письмо от профессора Ю. Г. Оксмана. Выражена готовность помочь. С этого часа по Астрахани начали бегать двое. Задания обсуждали совместно, делили поровну. Разбежимся в разные стороны... Через три часа возвращаюсь на угол Советской и Кирова, еле плетусь — Свердлина битый час дожидается, читает книжку или остановила знакомых.

Дошло дело и до Дворца пионеров. Прихожу — собраны самые маленькие. Как завел я про чемодан, переутомились уже через пять минут: вертятся, мученики, радостно отвлекаются — книжка упала, на улице камера лопнула, зазвенел номер от вешалки. «Эх,— думаю,— надо было комсомольцев привлечь! Посоветовали!»

Но вот произнес слово «Астрахань»... И то, что произошло вслед за этим, можно сравнить только с остановившимся кинокадром: никто не мигнет, позы не переменит — все застыло!

Только закрыл рот — тянут руки.

— Что такое архив?

— Где Актюбинск?

— Пожалуйста, расскажите сначала!

Эх, неопытность моя в педагогике! Надо было начинать с Астрахани!

А руки все тянутся.

— Сколько весил чемодан Бурцевых?

— В какой школе училась Рина?

— Как фамилия человека, у которого Архипов купил картинки?

— Чемодан тоже остался в архиве или только бумаги?

— Что надо искать — продиктуйте.

Редкие молодцы!

Диктую вопросы. Прошу пересказывать эту историю всем астраханцам. Уславливаемся насчет часа, когда буду ждать их в гостинице. Уже попрощались — вопрос:

— К нам мамин дядя приехал из Гурьева. Ему можно сказать про это? Или только таким, кто ходит голосовать?

— Можно и дяде!

Положился на них и вам посоветую: действовали с редким энтузиазмом.

ОГОРЧАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ

Сижу в кабинете Токарева. Беседуем. Делаю пометы для памяти: у Рины было несколько писем Шаляпина, альбомы Репина, письма художника Сергея Григорьева к самому А. Е. Бурцеву. Три полотна Саламаткина из бурцевского собрания есть на Кутуме. Художница Нешмонина приобрела в свое время несколько неплохих рисунков. Много вещей находилось в руках Гилева.

— Кто такой?

— Художник. Бывал у Бурцевых еще до войны. Военные годы провел в Астрахани. Часто навещал дом на улице Ногина, когда приехала Рина и стала распоряжаться коллекцией... У него были Шишкин, Крыжицкий, Крачковский... Федотова как-то показывал здесь... Много других вещей было от Бурцевых: он их хороший знакомый. Как будто разошлось все это по частным коллекциям — в Москве и в Поволжье... Дневник Лейкина? Еще недавно его видели в Астрахани в руках этого... Гены Гендлина! Говорил кто-то, что там есть упоминания про Чехова.

Токареву запомнилось: дочь Бурцевой говорила, что имущество их хранится не только на улице Ногина, но и в других местах. Где? Обо всем этом мог знать Алексей Архипов, который первым тогда прибежал в галерею. Можно ему написать: он в Казани, в художественном училище. Только проще побывать на квартире, где жили Бурцевы, поговорить с Полиной Петровной Горшеневой — хозяйкой. Она в Хлебпищеторге работает. Там разговаривать неловко, а лучше домой...

Я к ней уже заходил — никак не застану. «А вы приходите, как встанете,— говорят.— Хоть в половине шестого, хоть в пять. Она товар принимает. Уходит — темно на дворе».

И вот наконец я на чердаке этого дома — чердаке, который старался представить себе в продолжение долгих месяцев,— у входа в светелку с окошечком, с выструганным добела полом, где когда-то стояла корзина. Беседуем с Полиной Петровной — хозяйкой, — и оба невеселы.

— Здесь у них все и было... Я уже слыхала про вас: мальчонка соседский тут прибегал. «У вас, говорит, на подловке ценности

сколько лежало, а вы не устерегли. Писатель — из Москвы — приходил, велел сдавать тетрадки писателей али письма, что есть...» Вы мне скажите,— она ждет от меня оправдания,— могла я знать, что сложено тут у Рины? Как я стану вещи ее проверять? Чужое. Мне не доверено. Три года лежало — не трогали. И после не стали брать.

Я ее понимаю!

Рассказывает: Рина приехала тогда — каждый день поднималась сюда, разбирала, приводила с собой компанию.

— Бумаги у них так и веяли... Прощалась — наказывала: «Если кто от меня заходить будет,— пускайте, это свои, для них тут отложено». После являются: «Рина про нас говорила?»–«Идите». Потом, уже, когда остатки остались, — пожарник: «Чья бумага?» — «Жильцов старых». — «Оштрафовать бы вас разок для порядка! Хорошо не сгорели!» Смел в кучу да на сугроб...

Кажется, лучше родиться глухим, чем слышать такое!

НАХОДКА

Подымаюсь по лестнице в номер. На площадке гостиницы, возле дежурной, дожидается знакомец по Дворцу пионеров лет десяти.

— Хотите, я вас сведу к одному? У него картины с улицы Ногина куплены.

И повел. Пришли в мастерскую художника. На мольберте большая, еще не законченная работа — астраханская степь, отара овец, чабаны... Трудится над полотном, как потом выяснилось, тот самый военный Володя, имя которого упомянула однажды Рина. Его фамилия — Вовченко.

— Вот у него есть картины, какие, вы говорили, пропали на подловке,— зашептал мой вожатый.

Художник обернулся мгновенно.

— Какие тебе картины?.. Вам что? — И поглядывает то на меня, то на мальчика недоуменно и даже недружелюбно.— Чего тебе надо здесь? Ну-ка, сыпься!

— Я с писателем,— пролепетал мой наставник.

— С каким писателем! — И уже помягче: — Это что, вы?

Я назвался, разъяснил причины и обстоятельства. Вовченко заулыбался, сразу же проявил жаркую готовность помочь.

— Рисунков я тогда накупил довольно. Мне попались работы не больно-то интересные, но коллекция раньше была — оёёй! Фото, письма, альбомы, книжки в переплетах роскошных... Там до меня народу перебывало порядком. Самое ценное в то время уже ушло, растеклось по частным каналам. Дочка владелицы, Рина, приехала ликвидировать имущество, которое здесь оставалось. В Куйбышев, говорили, попало кое-что, в Казань... Корзину? Видел! Багажная, приличных размеров!

8 1909 г.
23 Июля
Куоккала

Модные эстетики полагают, что в живописи главное — краски, что краски составляют душу живописи. Это не верно.

Душа живописи — идея.
Форма — ее тело.
Краски — кровь.
Рисунок — нервы.
Гармония — поэзия дают жизнь искусству, безсмертную душу.

Илья Репин

Автограф И. Е. Репина.

Пригласил меня к себе на квартиру. Помощника моего подергал легонько за ухо:

— Тебя за «языком» посылать...

Дома, на улице Пушкина, вынес целую стопу карандашных рисунков и акварелей: Прянишников, Маковский, Мясоедов, Вахрамеев, Зичи, Григорьев... Наряду с этим много работ малоизвестных художников начала нашего века и просто ремесленные картинки — карикатуры, иллюстрации к дешевым изданиям, оригиналы поздравительных открыток... Как уже было сказано, Бурцев собирал все!..

И вдруг! Среди этих наклеенных на пыльные паспарту рисунков несколько альбомных листков: переплет оторван, начала и конца нет, по обращениям можно понять, что принадлежал этот альбом в свое время известному переводчику В. В. Уманову-Каплуновскому... 1909 год... Запись литератора Тенеромо... Высокопарное изречение об эмансипации женщин — подпись Н. Б. Нордман-Северовой, жены И. Е. Репина... И запись самого Репина! Страничка, на которой изложен взгляд его на искусство!

1909.
23 июля.
Куоккала.

Модные эстетики полагают, что в живописи главное — краски, что краски составляют душу живописи. Это не верно. Душа живописи — идея. Форма — ее тело. Краски — кровь. Рисунок — нервы. Гармония — поэзия дают жизнь искусству — его бессмертную душу.

Илья Репин

Как передать здесь то внезапное удивление, которое испугало, обожгло, укололо, потом возликовало во мне, возбудило нетерпеливое желание куда-то бежать, чтобы немедленно обнаружить еще что-нибудь, а затем снова вернуло к этой поразительной записи.

Вот она, мысль, в которую уместились часы вдохновения, годы труда, подвиг всей жизни Репина!

Мысль выстраданная и выношенная!

Мысль, бывшая путеводителем в творчестве!

Мысль — убеждение, защита, мерило искусства, оценка художника!..

Вот он, пыльный альбомный листок, без которого мы, сами того не ведая, были бы на один факт беднее, как были бы, не зная того, беднее без собранных Бурцевым документов, отразивших мгновения нашей истории, моменты жизни и творчества наших великих людей,— без писем Ломоносова и Суворова, Лермонтова и Кюхельбекера, Горького и Чайковского... Да, впрочем, что тут! Одна страничка, исписанная рукой великого Репина, стоила бы упорных поисков!

...Вовченко охотно дает разрешение сфотографировать этот листок. Вообще он полон готовности помогать.

— Куда посоветую вам зайти,— говорит он,— это к Розе Давидян, к художнице... Тут, улица Победы, неподалеку... Идемте, я вас сведу!

И я понимаю, что это и есть та самая «не то с грузинской, не то с армянской фамилией» Роза, о которой я слышал от Рины.

НЕВЕСЕЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пришли.

— Мы к тебе на минутку, Роза. Ты Рину Бурцеву помнишь? Тут надо человеку помочь... У тебя каких-нибудь бурцевских нет рисунков?..

— Интересного нет...

К ней попали все больше средней руки иллюстрации к дореволюционным изданиям, оригиналы картинок, которые печатала «Нива», юмористические листки — шаржи, карикатуры...

— Куда бы его еще повести? — советуется с ней общительный Вовченко, покуда я перекладываю листы.— Ты человек живой! Сообрази, Роза!

Сложив на диван рисунки, я разговариваю и смеюсь с ними, как с добрыми друзьями, которых знаю с молодых лет.

— Сейчас, наверно, сменилась с дежурства Лида (Дьяконова, ты знаешь!), она работает сестрой в клинике. Сегодня она должна быть дома. Она говорила, ей Рина давала на хранение письма Багратиона.

Все вместе отправляемся к медсестре Дьяконовой.

Пришли и смутили — высокую, сероглазую, строгую.

— Были Багратиона письма. Но я сама в сорок четвертом году уезжала в деревню, а вернулась — и не нашла.

Вздыхаем. Потом они втроем начинают потихонечку совещаться:

— Куда ему посоветовать зайти? Ты Рининых знакомых не знаешь?

— У Гены был дневник Лейкина, я сейчас его фамилию забыла... Еще другой — в ТЮЗе работал,— он книги у них покупал.

Начинают всплывать обстоятельства, восстанавливаться подробности...

Но не стану больше перечислять имен, которые ничего вам не скажут. Не буду занимать вас рассказом о том, как я бегал из института рыбной промышленности в медицинский, из педагогического — в Театр юного зрителя, из Товарищества художников — в клиническую больницу, в Общество по распространению знаний... Не стану, потому что добывал я уже не автографы, не картины, а только новые доказательства, что они действительно были. Выяснилось, что нет не только бумаг Петра Первого и писем Багратиона, нет писем и донесений Кутузова, писем Чехова к Горькому, а их видели. Не оказалось того, о чем говорила Рина, что видели Скоков и Токарев...

Устремились мы со Свердлиной на поиски дневника Лейкина. И опять безуспешно! Новый владелец тетрадей переехал в Караганду. Разъехались и другие, кто знал или мог знать, что хранилось в корзине на чердаке,— один ушел в армию, другой учился в Казани... Мне давали адреса: Воткинск, Березники, Новосибирск, Ховрино под Москвой... Двое из тех, что часто бывали на чердаке, не выезжали из Астрахани. Но их уже не было в живых.

Каждый день прибегали ко мне пионеры, ждали часами, провожали, объясняя, в какие ворота войти, в какую стучать квартиру и кого там спросить. Я все знакомился, все расспрашивал и получал от новых людей все новые и новые адреса. С каждым днем становилось все более ясным; если искать бесконечно, можно найти еще один документ, еще два рисунка, может быть, десять, двадцать... Но астраханская часть коллекции Бурцева растеклась, разошлась по рукам и как таковая больше не существует.

Тут можно было бы поставить последнюю точку. Но я предвижу вопросы и возражения.

— Какое право было у Бурцевых хранить документы, имеющие общественное значение?

— Надо было изъять у владельцев коллекцию, которую они не сумели сберечь!

— Почему коллекция не была конфискована при жизни самого Бурцева?

— Отчего не привлекли виновных в гибели документов к ответственности?

Такие вопросы уже задавали.

Попробуем разобраться.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ДЕЛА

История эта вызывает чувство глубокой горечи. Но суть дела вовсе не в том, что коллекцию не конфисковали вовремя, и не в том, что владельцев не привлекли к судебной ответственности. Это дело сложнее. Оно выходит из юридической сферы и касается понятий моральных.

Право личной собственности в нашей стране распространяется на предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства — на то, что служит удовлетворению наших материальных и культурных потребностей. Это право незыблемо. Его охраняет закон — десятая статья Конституции.

Вы решили украсить свою комнату — повесили полотна Сергея Герасимова и Сарьяна, этюды Кукрыниксов, рисунки Верейского и Горяева. Вот и коллекция! Кто может изъять ее у вас, полноправного члена советского общества? А завтра вы, может быть, решите собирать

на свои сбережения патефонные пластинки, почтовые марки, фарфоровую посуду, редкие книги?! Собирание коллекций — общественно полезное дело: коллекционируя, вы изучаете вещи, сохраняете их от забвения, от распыления. Любая коллекция, собранная на ваши личные сбережения,— ваша личная собственность.

Закон советский охраняет и право наследования. Рано или поздно ваша библиотека, картины, пластинки, фарфор, если только вы не завещали передать их в государственное хранилище, станут собственностью ваших наследников. И они распорядятся ею по своему усмотрению. И, возможно, так же не сумеют ее сохранить, как не сумели полностью сохранить свою коллекцию Бурцевы.

Спрашивают: почему коллекцию, представлявшую ценность общественную, не реквизировали после Октябрьской революции?

Для этого не было оснований: закона об изъятии частных коллекций не существует.

Что же касается предложения привлечь владельцев к ответственности за то, что они не сумели полностью уберечь эти документы, картины и книги, то можно ли возбудить дело против гражданина, повинного в утрате принадлежащего ему личного имущества?

И тем не менее все понимают: бросить на чердаке подушки или посуду — дело одно; оставить без охраны уникальные ценности — дело другое. Нельзя привлечь к юридической ответственности за то, что человек уничтожил принадлежавшую ему книгу или картину. Но, узнав об этом, мы вправе считать, что личное право он ставит выше общественных интересов, и справедливо осудим такого.

Владеть ценнейшей коллекцией — быть в ответе перед историей. Потомки не станут вникать в обстоятельства, при которых владельцам пришлось расстаться с частью коллекции. Уже не о них — обо всех нас будут говорить они с осуждением: «не могли сохранить», «растеряли», «где были те, кому по роду занятий надлежало проявлять заботу об исторических документах,— люди культуры, историки, музейные работники, архивисты?» Разве мы не говорим так о тех, что жили в прежние времена и не сохранили для нас многих замечательных памятников искусства, литературы?

Да, говорим. Сокрушаемся. А чаще всего негодуем!

Советское государство гарантирует нам права, которые не гарантированы ни в одной стране по ту сторону границ мира социализма,— право на труд, на образование, на отдых, на обеспечение по болезни и старости и многие другие права; в том числе гарантировано наше право и на личную собственность.

На заботу государства о нас мы отвечаем заботой о государственных интересах. И ставим их выше личных. Коллекция Бурцевых представляла ценность общественную. А это обязывало их проявлять в отношении ее куда большую меру заботы, чем о всякой другой своей собственности.

ПУСТЬ ЭТО ПОСЛУЖИТ УРОКОМ!

Сколько ценнейших рукописей погибло от случайных причин, начиная со «Слова о полку Игореве», список которого хранился в Москве, в доме собирателя Мусина-Пушкина, и сгорел в 1812 году во время пожара!

Владелец не уберег! Тем более не стоит наследникам хранить у себя документы, значение которых большею частью им непонятно. Но если наследник хотя бы слышал, что это ценность, то третьи лица чаще всего не знают даже и этого. Не вникнув в содержание попавших в их руки бумаг, они часто дают им совсем другой ход.

Великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, будучи вынужден покинуть Грузию еще юношей, умер в конце XVIII века на Украине. Незадолго до смерти, полуслепым стариком, он вписал все свои сочинения в толстую книгу и, узнав, что в Кременчуг прибыл грузинский посланник при русском дворе царевич Мириан, отослал ему труд всей своей жизни в надежде, что стихи и поэмы, писанные по-грузински в полтавской деревне,— найдут путь на родину и станут известны грузинским читателям.

Все, однако, случилось совсем не так, как рассчитывал поэт. Рукопись его в Грузию не попала. Туда дошли только копии. А самая рукопись почти сто лет спустя после смерти Гурамишвили была куплена в Петербурге, в антикварном магазине на Литейном проспекте. И то потому, что случайно попалась на глаза студенту, который смог прочесть заглавие и первые листы текста и понял значение находки. В ином случае мы не имели бы ни одной собственноручной строки этого замечательного поэта.

Не менее значительное событие произошло лет тридцать назад в городе Чехове под Москвой.

На дне клетки, в которой прыгала канарейка, случайно обнаружился лист, исписанный почерком Пушкина. Удивились, стали искать, откуда он взялся. И набрели на ящик с бумагами Пушкина — это была рукопись о Петре.

В Талдомском районе, Московской области случайно заметили, что в одной избе стена под обоями в горнице обклеена старыми письмами. Содрали обои, отмочили листки. Это были письма к родным великого сатирика Щедрина.

Если говорить об ответственности, то виноваты наследники тех, кому эти бумаги принадлежали. О чем они думали, оставляя после себя эти рукописи? Кто должен был решать их судьбу? Определить руку Пушкина могут только специалисты. Но даже специалисты по Пушкину щедринский почерк читают с трудом. Человек, не сведущий в этих вопросах, сам разобраться в этом не может. И единственно правильное, что может он сделать,— обратиться к специалисту, в редакцию местной газеты, в библиотеку, в архив...



или

Два дни ведра на 363 ненастья.

Кишиневъ 1822 года.

Дневник кишиневского чиновника П. И. Долгорукова. Найден возле Мичуринска.

Учащиеся Красноборской средней школы, Архангельской области и поступили именно так: послали в Ленинград, в Пушкинский дом, два рукописных сборника, составленных в XVIII веке.

Ученики одной из московских школ пошли еще дальше. Они решили искать литературные документы. Узнав, что Аркадий Гайдар жил когда-то в подмосковном городе Кунцеве, решили проверить, не осталось ли в доме каких-нибудь рукописей, книг или фото. И, роясь на чердаке, обнаружили и командировочные удостоверения Гайдара, и договоры с издательствами, и письма к нему, и даже неопубликованный очерк. Находки свои они передали в Центральный литературный архив.

А возле Мичуринска, во дворе техникума, двое учащихся нашли еще более редкую вещь: дневник чиновника, служившего вместе с Пушкиным в Кишиневе. Автор этого дневника рассказывает, как сосланный Пушкин отзывался о политических порядках тогдашней России: «...Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Ученики передали находку преподавательнице русского языка. Та, в свою очередь, доставила ее в Москву, в Литературный музей, и вручила пушкинисту М. А. Цявловскому. Дневник опубликовали, а самая тетрадь, обнаруженная во дворе техникума, хранится ныне в сейфе Пушкинского дома Академии наук СССР, куда мало-помалу стекаются все рукописные материалы, имеющие отношение к Пушкину. Много можно рассказать интересного о находках, поступающих в этот сейф!

В 1921 году ленинградский искусствовед Г. И. Гидони, развернув купленный в булочной хлеб, обнаружил, что на обертку были пущены старинные, большого формата письма, в которых шла речь о дуэли и смерти Пушкина. Оказалось, что автор их — сын знаменитого историка Андрей Карамзин, который писал из Баден-Бадена в Петербург матери и сестре — Е. А. и С. Н. Карамзиным — о том впечатлении, которое произвело на него известие о гибели Пушкина.

Гидони передал эти письма в Пушкинский дом.

Прошло около двадцати лет. И вот, разбирая в Нижнем Тагиле книги, оставшиеся после смерти инженера Шамарина, бухгалтер О. Ф. Полякова обнаружила письма о дуэли и смерти Пушкина, писанные из Петербурга в Баден-Баден Е. А. и С. Н. Карамзиными и адресованные Андрею Карамзину. Полякова передала их в Тагильский музей краеведения. А в 1957 году они поступили в Ленинград, в Пушкинский дом, и легли рядом с находкой Гидони.

Совсем недавно туда же поступило подлинное письмо Пушкина к некой Алымовой и вместе с ним письмо Гоголя к его ученице Балабиной. Их прислал в дар институту известный физиолог — московский профессор И. М. Саркизов-Серазини. В сопроводительной записке его говорится: «Считаю себя не вправе держать эти драгоценные реликвии у себя дома».

Немало таких подарков поступает в наши архивы. И. Н. Заволоко прислал из Риги письмо художника Рериха; А. М. Кулакова из Вельска — пять старинных рукописных книг, в их числе неизвестную повесть. От Т. Е. Бурдина поступил в дар старинный сборник сказаний и поучений; от И. Н. Заборского — десять рукописей XVII—XIX веков: старинные повести, сказки, крестьянские челобитные. А. М. Бебяков подарил старинный «столбец» — свиток длиной в пять метров, в котором сообщается о тяжбе владельцев той самой земли, на которой ныне стоит колхоз «Красный пахарь», Архангельской области. «Столбцу» этому около трехсот лет. В. Г. Зыкин принес в дар государству целых тридцать шесть рукописей, и некоторым из них по пятьсот лет.

Кто они, эти люди?

Заволоко — пенсионер. Кулакова — жена краеведа. Бурдин — редактор районной газеты. Заборский — колхозный счетовод. Бебяков — колхозник. Зыкин — преподаватель... Таких людей много. О них можно было бы написать целую книгу. Это они из интереса и уважения к нашей культуре, к нашей истории доставляют в музеи ценные археологические находки, древние клады, сообщают о редких книгах, о старых рукописях. Все больше становится людей, передающих свои находки и материалы в дар, безвозмездно.

Сколько рассеяно по нашей стране — и не только в областных и районных центрах, но и в селах, у частных лиц — ценнейших материалов: писем, рукописей, документов, революционных листовок, старых альбомов, книг, уникальных портретов, пожелтевших, выцветших фотографий, важных для нашей истории! Пусть печальный опыт с корзинкой на чердаке послужит всем нам уроком. Давайте искать, собирать, сохранять архивные ценности! Не для себя, а для всех! Для советского общества! Для культуры!



СОДЕРЖАНИЕ

Портрет 3
Загадка Н.Ф.И. 37
Подпись под рисунком 67
Земляк Лермонтова 86
Личная собственность 99

Для средней школы

Андроников Ираклий Луарсабович

РАССКАЗЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДА

* * *

Ответственный редактор *Н. С. Абрамова.* Художественный редактор *Г. Ф. Ордынский.* Технический редактор *С. Г. Маркович.* Корректоры *Л. И. Гусева и Л. М. Николаева.* Сдано в набор 18/V 1962 г. Подписано к печати 27/VIII 1962 г. Формат 70×90$^1/_{16}$. 9 печ. л. 10,53 усл. печ. л. (9,63 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз. ТП1962 № 628.
Цена 39 коп.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Калининский совнархоз. Полиграфкомбинат, г. Калинин, пр. Ленина, 5. Заказ № 792.



Цена 38 коп.